
Она носит сердце его брата. Он ещё не знает.
Бьётся за двоих
Лия Нарель

Лия Нарей

Бьётся за двоих

«Автор»
2026

Нарей Л.

Бьётся за двоих / Л. Нарей — «Автор», 2026

Она носит сердце его брата. Он ещё не знает.Восемь лет Мира смотрела на мир через окно и считала ступени до своего третьего этажа. Шестнадцатого марта ей пересадили сердце. Новое бьётся быстро, будто куда-то спешит, — и обо всём узнаёт последним. Через пять минут после неё.Дан не может нажать на синюю точку. Последнее голосовое от младшего брата — одна минута двенадцать секунд — так и висит непрослушанным. Дан пишет злые посты и ненавидит человека, который где-то живёт с сердцем Тёмы.Мира находит этот пост. И приходит по объявлению в его мастерскую — только посмотреть. Один раз.Она садится за стол его брата. Находит в шкафу его список «До двадцати». И начинает выполнять пункт за пунктом — рядом с Даном, который ничего не знает.Каждый день она обещает себе сказать правду. И каждый день сердце в её груди бьётся всё громче, когда он рядом.Роман о любви, утрате и втором шансе. О том, как одно сердце может принадлежать двоим.

© Нарей Л., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Пролог 6
Часть первая. Не бояться высоты 8
Глава 1 9
Глава 2 17
Глава 3 23
Глава 4 29
Глава 5 34
Глава 6 41
Часть вторая. Встретить рассвет на крыше 47
Глава 7 48
Конец ознакомительного фрагмента. 53

Лия Нарей
Бьётся за двоих

«Пересаженное сердце ни с чем не связано. Оно работает само по себе. Оно узнаёт обо всём последним».

Из разговора кардиохирурга с пациенткой

Пролог

Тёма

Четырнадцатое марта. Двадцать три часа тридцать восемь минут.

Город мокрый и чёрный, как будто его только что вынули из воды и забыли вытереть. Фонари на набережной отражаются в асфальте длинными жёлтыми полосами. Нева ещё подо льдом, но лёд уже серый, ноздреватый, весь в трещинах — того и гляди тронется.

Тёма останавливает мотоцикл у самого начала моста, на Васильевском, возле сфинксов, и глушит двигатель.

Становится очень тихо. Только где-то в глубине острова воет сигнализация, и мимо, шурша шинами по лужам, проезжает пустой троллейбус с синими окнами.

Он снимает перчатку зубами. Пальцы замёрзли так, что не гнутся. Достаёт телефон из внутреннего кармана куртки, долго смотрит на экран.

Последнее сообщение в чате с братом — его собственное, трёхдневной давности. Фотография Поршня, спящего в коробке из-под карбюратора, и подпись: «Он опять считает себя деталью».

Дан ответил одним словом: «Смешно».

Дан всегда отвечает одним словом, когда ему смешно. Когда не смешно — не отвечает вообще.

Тёма смотрит на это «смешно» и чувствует, как внутри поднимается что-то горячее и тяжёлое. Полтора часа назад Дан стоял посреди мастерской с гаечным ключом в руке и говорил ему такие вещи, которые нельзя говорить младшим братьям. А он, Тёма, говорил в ответ такие, которые нельзя говорить старшим. Хлопнул дверью так, что с полки упала банка с болтами. Завёл мотоцикл. Уехал.

Куда — сам не знал. Просто ехал. По Обводному, по Лиговскому, через центр, мимо Исаакия, через мост на Васильевский, по набережной до самой Стрелки и обратно. Ехал, пока злость не выдуло ветром.

Злость выдуло. Осталось другое.

Он поднимает телефон к губам. Нажимает на микрофон и держит.

— Дань, — говорит он.

И замолкает. Слушает, как идёт запись. Секунда, две. Красная полоска ползёт по экрану.

Он улыбается — криво, одним углом рта, как улыбается всегда, когда собирается сказать что-то важное и боится, что выйдет глупо.

И говорит дальше.

Говорит долго — для него долго. Минуту с лишним. Ветер с реки треплет капюшон толстовки, торчащий из-под куртки, и задувает в микрофон, и он прикрывает телефон ладонью.

Потом отпускает кнопку. Сообщение улетает. Одна серая галочка. Потом вторая.

Не прочитано.

Тёма смотрит на экран ещё немного. Потом убирает телефон обратно во внутренний карман и застёгивает молнию до самого подбородка.

Надевает перчатку. Надевает шлем. На шлеме, сзади, маленькая красная наклейка, которую Дан приклеил ему в тот день, когда подарил мотоцикл: «Положено. Чтобы знали, что в тебя заливать». Два римских «I» и плюс.

Он заводит двигатель. Мотоцикл вздрагивает под ним, как живой, и низко, уютно урчит.

Мост перед ним пустой и длинный. Фонари уходят вперёд двумя ровными рядами и сходятся где-то на том берегу, у Английской набережной, в одну светлую точку.

Тёма опускает визор.

Ему девятнадцать лет. Через восемь месяцев ему будет двадцать.

Он едет обратно.

Часть первая. Не бояться высоты

Голосовое сообщение

Тёма — Дану. 3 февраля, 02:14

Дань. Не спишь? Спишь, конечно. Ты в одиннадцать уже спишь, как пенсионер. Ладно, утром послушаешь.

Угадай, где я. Не угадаешь. Я на крыше. На нашей, над мастерской. Залез по пожарной лестнице. Тут, оказывается, видно Лавру и трубы ТЭЦ, и Обводный отсюда вообще красивый, как будто это не Обводный, а какая-нибудь Венеция для бедных.

Мне страшно, если что. Я сижу у самой трубы и держусь за неё двумя руками, и телефон держу подбородком, поэтому так говорю. Ноги ватные. Вниз не смотрю. Я вообще никуда не смотрю, кроме Лавры.

Зачем полез? Потому что у меня список. Не смейся. Я его в шкафу написал, маркером, мама ещё не видела, увидит — убьёт за шкаф. Там первым пунктом — «не бояться высоты». Я подумал: надо же с чего-то начинать. Вот, начинаю.

Пока не получается. Пока я боюсь высоты прямо очень хорошо. Профессионально.

Но знаешь что? Тут небо. Прямо над головой. Не как внизу, где оно между домами полосочкой, а целиком. И звёзды. Три штуки. Для Питера в феврале это, считай, звездопад.

Короче. Если завтра найдёшь меня примёрзшим к трубе — мотоцикл завещаю Поршню, гитару — Гоше.

Шучу. Слезаю. Медленно. Очень медленно.

Не говори маме.

Глава 1

Мира

Пульс: 71

Моё сердце было старше меня.

Не по годам — по усталости. Мне был двадцать один год, а ему, по ощущениям, лет девяносто. Оно было большим, вялым и обидчивым, как старик, которого слишком долго заставляли работать. Врачи называли это дилатационной кардиомиопатией. Я называла это «оно». Как будто внутри меня жил кто-то отдельный, с характером, и с ним приходилось договариваться.

Мы договаривались восемь лет. С тех пор как в тринадцать я подхватила какой-то вирус, неделю пролежала с температурой, а потом не смогла подняться на третий этаж к себе домой. Я помню ту лестницу до сих пор: широкие ступени, стёртые посередине, перила, крашенные зелёной краской поверх коричневой. Я поднималась и останавливалась на каждой площадке. Потом через каждые пять ступеней. Потом — через каждые две.

Мама думала, что я притворяюсь, чтобы не ходить в школу. Потом думала, что это пройдёт. Потом перестала думать и начала возить меня по врачам.

Не прошло.

Шестнадцатого марта, без пяти одиннадцать вечера, я лежала в палате кардиоцентра и смотрела, как на моём запястье светятся две цифры. Семьдесят один.

Браслет был дешёвый, пластиковый, с треснувшим ремешком, который держался на кусочке пластыря. Мне его подарила Сашка. Неделю назад, просто так, без повода — сунула мне в руку и сказала:

— На. Будешь считать за двоих.

— Почему за двоих?

— Потому что моё мне считать уже неинтересно. Я его и так слышу. — Она постучала пальцем себе по груди. — Тук-тук. Тук… тук. Как сосед с перфоратором, который никак не решит, будет он сегодня сверлить или нет.

Сашке было шестнадцать. У неё был такой же диагноз, как у меня, только хуже. Она лежала на соседней кровати, в метре от меня, в огромных наушниках и с катетером в вене, и рисовала себе ногти чёрным маркером, потому что лак нам было нельзя.

Мы обе ждали сердце.

* * *

Ожидание — странная вещь, когда ждёшь сердце. Ты не можешь сказать вслух, чего именно ждёшь. Потому что, если сказать честно, получится: я жду, что где-то кто-то умрёт. Молодой, здоровый, с подходящей группой крови и подходящим размером. Я жду, что у кого-то сегодня случится самый страшный день в жизни. И что после этого у меня случится самый лучший.

Поэтому никто так не говорил. Ни врачи, ни медсёстры, ни мама. Все говорили: «ждём». Просто «ждём». Как будто речь шла об автобусе.

Я ждала одиннадцать месяцев. Последние шесть недель — здесь, в палате, под капельницей, которая заставляла моё старое сердце сокращаться хоть как-то. Без неё оно уже не справлялось. Без неё я задыхалась, даже когда просто лежала на спине.

Я много думала об этом человеке. О том, которого ещё нет. О том, кто сейчас где-то живёт — едет в метро, ругается с кем-нибудь, ест бутерброд над раковиной, — и не знает, что я его жду. Я думала о нём каждую ночь и каждую ночь себе запрещала.

Это было как молиться о дожде, зная, что где-то этот дождь смоет чей-то дом.

* * *

У меня была привычка. Каждую ночь, перед тем как заснуть — или перед тем как окончательно понять, что не засну, — я фотографировала окно.

Окно нашей палаты выходило на парковку. Не самый лучший вид в мире. Асфальт, фонарь, шлагбаум, будка охранника, три чахлые берёзы и забор, за которым темнела стройка. Но я снимала его каждую ночь, с одной и той же точки, с кровати, вытянув руку с телефоном. Триста двадцать семь фотографий одной и той же парковки.

Я выкладывала их в аккаунт, который назывался просто: «Вид из окна». Без подписей, без хэштегов. У аккаунта было сорок два подписчика. Половина из них — боты. Другая половина — люди, которые, как и я, по каким-то причинам смотрели на мир через стекло.

Иногда на парковке что-нибудь происходило. Однажды охранник танцевал под дождём — один, думая, что никто не видит. Однажды две машины ночью въехали друг в друга на скорости пять километров в час, и водители, выйдя, долго стояли и смеялись. Однажды на капоте чёрного джипа спала рыжая кошка.

В ту ночь не происходило ничего. Мокрый асфальт, жёлтый фонарь, берёзы. Мартовский снег, который не таял и не падал, а просто висел в воздухе мелкой взвесью.

Я сделала триста двадцать восьмую фотографию и положила телефон на тумбочку.

— Опять парковку снимаешь? — спросила Сашка, не снимая наушников.

— Опять.

— Скучно живёшь, Лаврова.

— Я вообще не живу. Я жду.

— Это одно и то же, — сказала Сашка. — Нам психолог в прошлом месяце объясняла. Ожидание — тоже жизнь. Надо его проживать. Осознанно.

Она сняла наушники, повесила их на шею и посмотрела на меня. У неё были огромные серые глаза на очень маленьком, очень бледном лице. Из-за этих глаз она всегда выглядела немного удивлённой, даже когда злилась.

— Сыграем? — сказала она.

— Во что?

— В «первым делом».

Это была наша игра. Мы играли в неё почти каждую ночь, когда не спалось, а не спалось нам почти всегда. Правила были простые: «Что ты сделаешь первым делом, когда…» И дальше не договаривали. Потому что договаривать было нельзя.

— Давай, — сказала я.

— Я первая. — Сашка устроилась поудобнее, поправив катетер на руке. — Первым делом я съем шаверму. Огромную. С двойным мясом и с картошкой внутри. На Сенной, в той палатке, где продавец с золотым зубом. Мама говорит, там отравиться можно. Пусть. Я хочу отравиться шавермой, а не вот этим всем.

— Принято.

— Теперь ты.

Я подумала. Я всегда долго думала, Сашку это бесило.

— Я поднимусь по лестнице, — сказала я. — К себе домой. На третий этаж. Не останавливаясь.

Сашка закатила глаза.

— Лаврова. Ты в прошлый раз это говорила.

— И в позапрошлый.

— Это не «первым делом». Это физкультура. Придумай что-нибудь нормальное.

— Это нормальное.

— Нет. — Она покачала головой. — Нормальное — это когда хочется. А ты говоришь то, что можно. Это разные вещи.

Я молчала. Она была права, и это было обидно. Сашка часто была права, и это всегда было обидно, потому что ей было шестнадцать, а мне — двадцать один, и по всем правилам мудрой должна была быть я.

— Хорошо, — сказала я. — Тогда… я пробегу под дождём.

— Уже лучше.

— Без зонта. Без капюшона. Просто побегу, куда глаза глядят, и буду мокрая насквозь, и мне будет всё равно.

— Ещё.

— Я буду танцевать. Где-нибудь, где громко. Чтобы музыка в груди отдавалась.

— Ещё.

Я посмотрела на неё. Она лежала, повернувшись ко мне всем своим маленьким телом, и ждала. Как будто это было очень важно — что я скажу дальше.

— Не знаю, — сказала я. — Больше не придумала.

— Влюбиться, — сказала Сашка.

— Что?

— Ты забыла. Влюбиться. — Она смотрела на меня очень серьёзно. — Ты двадцать один год прожила и ни разу не влюблялась. Ты сама говорила.

— Я влюблялась. В девятом классе. В мальчика из параллельного.

— Ты на него смотрела с третьего этажа, пока все были на физре, а тебя от физры освободили. Это не влюбиться. Это наблюдение за птицами.

Я засмеялась. Тихо, чтобы не услышала дежурная медсестра.

— А ты? — спросила я. — Ты влюблялась?

— Я? — Сашка фыркнула. — Мне некогда. У меня шаверма.

Она снова надела наушники и отвернулась к стене. Но я видела, что она улыбается.

* * *

Сашка заснула около полуночи. Я слышала, как выравнивается её дыхание, как она пару раз всхлипывает во сне, как поскрипывает кровать, когда она поворачивается. Её капельница тикала в темноте — тихо, ровно, капля за каплей.

Я не спала.

Я лежала и слушала своё сердце. Оно стучало, как всегда, — неровно, будто спотыкаясь. Иногда пропускало удар, и тогда внутри у меня всё замирало на долю секунды, а потом оно, словно спохватившись, било дважды подряд, торопливо, догоняя. Под ключицей у меня стоял маленький аппарат — кардиовертер-дефибриллятор. Он следил за этим ритмом днём и ночью, и, если бы сердце вдруг решило остановиться совсем, он ударил бы его током. Однажды он уже так сделал. Мне было восемнадцать, я стояла в очереди в аптеке, и меня будто лягнула лошадь изнутри. Я пришла в себя на полу, и надо мной стояла фармацевт в белом халате и почему-то держала в руках упаковку аскорбинок.

С тех пор я немного боялась своего сердца. И немного жалела его. Оно же не виновато, что заболело. Оно старалось. Восемь лет старалось за двоих — за себя и за ту здоровую девочку, которой я должна была быть.

Я положила ладонь себе на грудь. Под пальцами — ребро, тонкая кожа, стук. Неровный, медленный, уставший стук.

Семьдесят один, — показывал браслет.

— Ну что, — сказала я шёпотом. — Ещё одну ночь продержимся?

Оно стукнуло. Пропустило. Стукнуло дважды.

Я решила, что это «да».

* * *

В двенадцать сорок в коридоре зажёгся свет.

Я видела его полоской под дверью. Обычно ночью в коридоре горели только дежурные лампы у поста — тусклые, жёлтые. А тут вспыхнул весь потолок, белым, ярким, и полоска под дверью стала резкой, как лезвие.

Потом шаги. Несколько человек. Быстро. Не бегом — здесь никогда не бегали, — но быстро.

Потом голоса. Приглушённые, неразборчивые. Чей-то короткий смешок — нервный. Хлопнула дверь ординаторской.

Я лежала и смотрела на полоску света. Сердце стучало как раньше. Семьдесят один. Семьдесят два. Семьдесят один. Ему было всё равно. Оно ничего не понимало. Оно не знало, что за дверью что-то происходит.

А я знала. Не головой — чем-то другим, древним, звериным. Так собака знает, что хозяин подходит к дому, ещё до того, как он свернул во двор.

Шаги остановились у нашей двери.

Дверь открылась.

На пороге стоял Илья Маркович Шор.

Он был в хирургическом костюме — синем, мятом, — и в старом свитере поверх. Седые волосы торчали в разные стороны, как будто он только что спал на них, или не спал вовсе, а всю ночь тёр голову руками. На носу — очки в тонкой оправе. Во рту — мятный леденец. Шор бросил курить пять лет назад и с тех пор не выпускал леденцы изо рта, от него всегда пахло мятой, и этот запах стал для меня запахом больницы.

Он остановился в дверях. Посмотрел на Сашку — она спала. Посмотрел на меня.

И вошёл. Тихо, на цыпочках, огромный, неуклюжий, в мягких бахилах. Сел на край моей кровати. Кровать прогнулась.

Он долго молчал. Я смотрела на него. Я видела его лицо очень близко — морщины у глаз, седую щетину, маленький шрам на подбородке. Он держал руки на коленях. Большие руки, с короткими ногтями, очень чистые.

— Мира, — сказал он наконец. Совсем тихо. — Есть сердце.

* * *

Я думала, что, когда это случится, я заплачу. Или закричу. Или засмеюсь. Я сто раз представляла этот момент — и в каждом варианте было что-то большое, громкое, как в кино.

Ничего не случилось. Я просто лежала и смотрела на Шора. И внутри у меня было очень тихо. Как в доме, где только что выключили холодильник, и ты вдруг понимаешь, что он гудел всю жизнь.

— Оно подходит? — спросила я. Голос был чужой, хриплый.

— Подходит. Группа, размер, всё. Предварительно — идеально. — Шор кивнул. — Через несколько часов будет здесь.

— Через несколько часов.

— Его везут. Тебя пока готовим. Анализы, душ, все дела. Маме я уже позвонил, она едет.

Я кивнула.

Потом спросила то, что спрашивать было нельзя. Я знала, что нельзя. Я всё равно спросила:

— Кто это?

Шор посмотрел на меня поверх очков. Долго. Устало.

— Не знаю, — сказал он. — Правда не знаю, Мира. Мне не говорят. И тебе не скажут. Так положено.

— Он… молодой?

— Мира.

— Я просто хочу знать.

— Я понимаю. — Он вздохнул и потёр лицо ладонью. — Слушай меня. Сейчас ты будешь думать об этом человеке. Будешь думать, кто он, как его звали, что с ним случилось, кто у него остался. Ты будешь думать об этом и через неделю, и через год. Это нормально. Это правильно. Это значит, что ты человек, а не кусок мяса на столе. — Он помолчал. — Но не сейчас. Сейчас ты думаешь только о себе. Как ты встанешь, пойдёшь в душ, сдашь кровь и ляжешь на каталку. Всё. Это приказ.

— Это приказ, — повторила я.

— Это приказ. — Он похлопал меня по руке. — Твой единственный долг перед этим человеком сейчас — проснуться. Понятно?

Я кивнула.

Шор встал. Кровать облегчённо выпрямилась. Он постоял, глядя на меня сверху вниз, и вдруг улыбнулся — криво, одним углом рта, как улыбался очень редко.

— Ты молодец, Лаврова, — сказал он. — Ты дождалась.

И вышел.

* * *

— Я всё слышала, — сказала Сашка из темноты.

Я повернула голову. Она сидела на кровати, обхватив колени руками, без наушников, и смотрела на меня своими огромными серыми глазами.

— Ты не спала?

— Я проснулась, когда свет включили. — Она помолчала. — Лаврова. Тебе сердце.

— Мне сердце, — сказала я.

И вдруг заплакала.

Не от счастья. Не от страха. Сама не знаю от чего. Слёзы просто потекли — сами, без всхлипов, без звука, — и я лежала и не могла их остановить. Они текли по вискам в уши, и было щекотно, и это было глупо, и я всё равно плакала.

Сашка слезла с кровати. Медленно, осторожно, придерживая капельницу. Подтащила стойку к моей кровати, села на край — туда, где только что сидел Шор, — и взяла меня за руку.

Её рука была холодная и очень маленькая. Пальцы в чёрных ногтях.

— Ты чего ревёшь, дура? — сказала она тихо.

— Не знаю.

— Тебе сердце дали. Новое. Здоровое. Ты будешь шаверму есть. Под дождём бегать.

— Это ты будешь шаверму есть.

— Я тоже буду. Потом. Позже. — Она сжала мою руку. — Мне просто нужно поменьше, чем тебе. Таких мало. Подождёт ещё немного, придёт и моё.

Я смотрела на неё. На её бледное лицо, на тёмные круги под глазами, на синеватые губы. Ей становилось хуже. Я знала это. Все знали. Врачи на обходах говорили с ней всё мягче, всё дольше задерживались у её кровати. Её мама приходила каждый день и уходила с красными глазами.

— Саш…

— Даже не начинай. — Она мотнула головой. — Не смей сейчас меня жалеть. Это твоя ночь. Поняла? Твоя. Не моя.

— Поняла.

— Вот и всё. — Она отпустила мою руку, встала и потащила свою капельницу обратно. На полпути остановилась, обернулась. — И ещё, Лаврова.

— Что?

— Только попробуй не проснуться. — Она сказала это очень спокойно. — Я тогда приду к тебе на кладбище и буду там каждый день слушать самую ужасную музыку. Громко. С колонкой.

— Договорились, — сказала я.

— Договорились. — Сашка забралась под одеяло. Отвернулась к стене. — Иди в душ. От тебя страхом пахнет.

* * *

Дальше всё было очень быстро и очень медленно одновременно.

Медсестра Галя — полная, весёлая, с родинкой над губой — помогла мне встать и дойти до душа. Я мылась специальным раствором, который пах больницей ещё сильнее, чем сама больница. Стояла под тёплой водой и смотрела на свои ноги — тонкие, бледные, с синими венами, — и думала, что эти ноги восемь лет не бегали. Что, может быть, побегут.

Потом кровь. Много пробирок, разноцветные крышечки. Галя шутила, что выкачает из меня больше, чем во мне есть. Потом — рентген, ЭКГ, ещё что-то. Я перестала запоминать. Я просто шла, куда говорили, ложилась, куда говорили, и дышала, когда говорили дышать.

Мама приехала в половине второго. Я услышала её раньше, чем увидела: в коридоре раздались быстрые шаги, такие знакомые, что у меня сжалось горло. Мама всегда ходила так, будто опаздывает, даже когда приходила заранее.

Она влетела в процедурную в пальто, накинутом поверх домашнего свитера, в незастёгнутых сапогах, с распущенными волосами. Без косметики, без украшений, без всего. Я никогда не видела её такой. Мама всегда, всю жизнь, даже в больницу ко мне приходила с уложенными волосами и накрашенными губами. Она говорила, что не может позволить себе выглядеть так, будто сдалась.

Сейчас она выглядела так, будто её выдернули из сна и швырнули в другую жизнь.

— Мирочка, — сказала она и обняла меня. Осторожно, через капельницу, через провода. — Мирочка.

Больше она ничего не сказала. Просто стояла и держала меня, и я чувствовала, как у неё дрожат руки.

За ней в дверях стоял папа. В куртке, застёгнутой не на те пуговицы, со связкой ключей от машины в руке. Он смотрел на нас и молчал. Папа вообще мало говорил. Он был инженером-теплотехником, всю жизнь проектировал котельные и говорил примерно так же, как проектировал: только по делу, без лишних деталей.

Когда мама наконец отпустила меня, он подошёл, поцеловал меня в макушку и сказал:

— Ну. Новый мотор.

Это была его единственная шутка за год. Я засмеялась, и мама засмеялась, и даже Галя, которая стояла у двери со штативом для капельницы, засмеялась тоже. И стало немного легче.

* * *

Потом мы ждали.

Сердце везли. Никто не говорил откуда. Никто не говорил как. Шор появлялся и исчезал, разговаривал с кем-то по телефону в коридоре, коротко и отрывисто. Один раз я услышала, как он сказал: «Хорошо. Хорошо. Ждём». И ещё: «Нет, не надо. Сам скажу».

Мы сидели в маленькой предоперационной. Я — на каталке, в больничной рубашке с завязками на спине, под тонким одеялом. Мама — на стуле рядом, держала меня за руку. Папа — у окна, смотрел на тёмный двор.

Мама говорила. Она всегда говорила, когда нервничала. О том, что надо будет купить мне новые тапочки, потому что эти совсем стоптались. О том, что бабушка в Твери будет звонить и надо ей будет всё объяснить спокойно, чтобы у неё не подскочило давление. О том, что, когда я выйду отсюда, мы поедем летом на дачу, и я буду сидеть в гамаке, и она будет приносить мне клубнику прямо с грядки.

Я слушала и кивала. Мне было тепло от её голоса. Даже если я не слышала слов.

А сама думала о нём.

Шор приказал не думать. Я не могла не думать.

Кто он? Или она? Сколько ему было? Что с ним случилось сегодня? Авария? Инсульт? Что-то ещё, о чём я даже не знаю? Есть ли у него мама, которая сейчас сидит где-нибудь в другом коридоре, в другой больнице, и держит его за руку, и не знает, что больше никогда не возьмёт её снова? Есть ли у него кто-нибудь, кто ждёт его дома и не дождётся?

Я думала, и мне было стыдно. Стыдно, что я здесь, живая, в тепле, с мамой и папой. Что через несколько часов у меня будет то, что ещё сегодня утром было у него. Что я этого хотела. Что я этого ждала. Одиннадцать месяцев.

— Мирочка, ты меня слушаешь?

— Слушаю, мам.

— Ты бледная.

— Я всегда бледная.

— Ещё бледнее, чем всегда.

Папа обернулся от окна.

— Наташ, — сказал он тихо. — Ей сейчас операцию делать будут. Конечно, она бледная.

Мама замолчала. Потом сжала мою руку сильнее.

— Прости, — сказала она. — Я просто… я столько лет ждала. И сейчас не знаю, что говорить.

— Ничего не говори, — сказала я. — Просто посиди.

Она посидела. Мы сидели втроём в маленькой комнате с кафельными стенами, и за окном стояла чёрная мартовская ночь, и где-то по городу ехала машина, в которой было сердце.

Я старалась не думать, что это сердце сейчас не бьётся. Что оно лежит в холодном контейнере, остановленное, и ждёт. Как ждала я.

Мы обе ждали друг друга, — подумала я. И мне стало от этого немного легче и немного страшнее.

* * *

В начале пятого пришёл Шор.

Уже не в свитере. В хирургической шапочке, в маске, спущенной на подбородок. Глаза над маской были сосредоточенные и спокойные. Как у человека, который сейчас пойдёт на работу.

— Приехало, — сказал он. — Красивое. Сильное. Будешь довольна.

Мама всхлипнула. Папа подошёл и положил ей руку на плечо.

Шор посмотрел на меня.

— Готова, Лаврова?

— Нет, — сказала я честно.

— Правильно. Никто не готов. — Он кивнул санитарам. — Поехали.

Каталка дёрнулась и покатилась. Мама шла рядом, держала меня за руку, пока могла. У дверей операционного блока её остановили. Она наклонилась, поцеловала меня в лоб — долго, крепко, — и отпустила.

Я видела её лицо в проёме закрывающихся дверей. И папину руку у неё на плече.

Потом двери закрылись.

* * *

Операционная была холодной и очень светлой. Белый кафель, белый свет, люди в синем. Надо мной висела огромная круглая лампа, похожая на подсолнух из металла и стекла. Я смотрела на неё и считала лепестки. Двенадцать. Тринадцать. Сбилась.

Кто-то прикреплял ко мне датчики. Кто-то говорил что-то спокойное, ровное, будничное. Кто-то пошутил — я не расслышала, о чём, — и кто-то засмеялся. Мне понравилось, что они смеются. Значит, для них это обычная ночь. Значит, всё будет как обычно.

Анестезиолог — молодая женщина с карими глазами над маской — наклонилась ко мне.

— Мира, сейчас будет немного холодно в руке. Потом я попрошу тебя считать. Хорошо?

— Хорошо.

— Ничего не бойся. Мы все здесь.

Я кивнула.

Я подняла руку — ту, на которой был браслет. Посмотрела на цифры. Они светились в белом свете операционной едва заметно, бледно-зелёным.

Семьдесят один.

Я положила другую ладонь себе на грудь. Под пальцами — стук. Неровный, медленный, уставший. Тот самый, который я слушала восемь лет каждую ночь. Который пропускал удары, спотыкался, торопился. Который однажды остановился в очереди в аптеке, и его пришлось запускать током.

Восемь лет. Мы прожили вместе восемь лет.

— Спасибо, — сказала я ему. Шёпотом. Так, чтобы никто не услышал. — Ты очень старалось.

Оно стукнуло. Пропустило. Стукнуло дважды.

В руке стало холодно.

— Считай, Мира, — сказала анестезиолог. — От десяти назад.

— Десять, — сказала я. — Девять. Восемь…

Лампа над головой расплылась и стала похожа на солнце. Огромное, белое, тёплое.

— Семь…

Где-то очень далеко, в другом мире, я услышала мамин голос. Она говорила про клубнику. Про гамак. Про дачу.

— Шесть.

Пульс на браслете мигнул. Семьдесят один.

Это была последняя цифра, которую я видела.

Глава 2

Дан

Автомат с кофе в коридоре реанимации стоял у окна, рядом с фикусом, который кто-то поливал слишком усердно. Земля в горшке была чёрной и мокрой, на ней росла белая плесень. Дан смотрел на эту плесень вторые сутки.

Кофе в автомате был отвратительный. Он брал его каждые два часа — не чтобы пить, а чтобы было чем занять руки. Стаканчик обжигал пальцы, и это было хорошо. Это было хоть что-то настоящее.

Шестнадцатое марта. Половина пятого вечера. Сорок с лишним часов с тех пор, как ему позвонили.

Он помнил тот звонок дословно. Двенадцать минут первого ночи, незнакомый номер, мужской голос — усталый, ровный, привыкший:

— Даниил Сергеевич? Вас беспокоит инспектор ДПС. Вы являетесь родственником Яворского Артёма Сергеевича?

— Я брат.

— Ваш номер был указан в телефоне как экстренный контакт. Ваш брат попал в ДТП на Благовещенском мосту. Его увезли на скорой в больницу на Литейном. Состояние тяжёлое.

Дан помнил, что сказал «спасибо». Как будто ему сообщили, что посылка пришла. Потом он долго стоял посреди мастерской с телефоном в руке и не мог вспомнить, где лежат ключи от машины. Они лежали у него в кармане.

* * *

Мама сидела на стуле у стены, в третьем от двери, — она выбрала его ещё вчера утром и с тех пор почти не вставала. Сидела очень прямо, сложив руки на коленях. Пальто не сняла. Шапку держала в руках и время от времени разглаживала на ней помпон.

Она была медсестрой. Двадцать шесть лет в детской поликлинике. Она знала, что значат слова, которые им говорили врачи. «Тяжёлая черепно-мозговая травма». «Диффузное аксональное повреждение». «Отёк». «Нарастает». «Рефлексы снижены». Дан слышал в этих словах только шум. Мама слышала в них всё.

Он видел это по её лицу. Вчера утром, когда реаниматолог — немолодая женщина с короткой седой стрижкой и тихим голосом — вышла к ним в первый раз, мама слушала её очень внимательно, кивала, задавала вопросы. Короткие, точные, медицинские вопросы. А потом, когда врач ушла, мама повернулась к Дану и сказала совершенно спокойно:

— Даня. Он не проснётся.

— Мам, она не так сказала.

— Она именно так сказала. Ты просто не понял.

Он тогда разозлился. На неё, на врача, на коридор с фикусом. Сказал, что так нельзя, что надо ждать, что люди выходят из комы через месяцы, через годы, что он сам читал. Мама ничего не ответила. Только посмотрела на него — долго, жалея, — и снова стала разглаживать помпон на шапке.

Сейчас, полутора сутками позже, он понимал, что она была права. И ненавидел себя за то, что понимает.

* * *

Их пускали к Тёме дважды в день. На десять минут. В халатах, в бахилах, в масках.

Тёма лежал в большом светлом зале, где стояли ещё пять кроватей, отгороженных друг от друга шторами. Вокруг каждой кровати — аппараты. Мониторы с зелёными линиями, капельницы на штативах, трубки, провода. Всё гудело, пищало, вздыхало. Аппарат искусственной

вентиляции рядом с Тёмой дышал за него — с мягким шипением, ровно, как метроном: вдох, пауза, выдох.

Лицо у Тёмы было чужое. Отёкшее, жёлто-синее, с белой повязкой на голове. Изо рта торчала трубка, приклеенная пластырем к щеке. Глаза закрыты. Ресницы — Тёмины, длинные, девчачьи, над ними Дан смеялся всё его детство, — лежали на щеках неподвижно.

Шлем спас ему лицо. Всего остального шлем спасти не смог.

Дан стоял у кровати и смотрел на руку брата. Она лежала поверх одеяла, ладонью вниз, с катетером в вене. На костяшках — старые ссадины, Тёма вечно обдирал руки о двигатели. На безымянном пальце — серебряное кольцо с черепом, купленное за триста рублей на развале у Апраксина двора. Тёма носил его не снимая уже два года и говорил, что это оберег.

Дан взял его за руку.

Рука была тёплой. Живой. Тяжёлой.

Он поднял глаза на монитор. Зелёная линия бежала по экрану ровными острыми зубцами. Цифры в углу: семьдесят восемь. Семьдесят девять. Семьдесят восемь.

— У него сердце бьётся, — сказал Дан. Медсестре, которая стояла у соседней кровати. — Смотрите. Нормально бьётся. Сильно.

Медсестра — молодая, курносая, с усталыми глазами — посмотрела на монитор. Потом на Дана. Она открыла рот, будто хотела что-то сказать, и закрыла.

— Да, — сказала она наконец. — У него очень хорошее сердце.

Дан сжал Тёмину руку. Тёплую, тяжёлую, живую руку.

Сердце бьётся, — думал он. Сердце бьётся. Значит, он здесь.

* * *

Он не мог вспомнить, из-за чего они поссорились.

Нет. Неправда. Он мог. Он просто не пускал это в голову. Как не пускают на порог человека, которого не хотят видеть: смотрят в глазок, стоят тихо, ждут, пока он уйдёт.

Он помнил другое. Помнил гаечный ключ на семнадцать у себя в руке — тяжёлый, холодный, — и как он сжимал его, пока не заболели пальцы. Помнил Тёмино лицо — красное, злое, с дрожащими губами. Помнил, как Тёма сказал что-то про «ты не имеешь права решать за меня». Помнил, как сам сказал что-то в ответ. Громко. Очень громко. Поршень испугался и забился под верстак.

Помнил последнее.

«Да катись ты».

Это сказал он. Дан. Своему брату. Девятнадцатилетнему брату, который стоял перед ним в куртке нараспашку, с мотоциклетным шлемом под мышкой.

И Тёма покатился.

Хлопнул дверью — с полки свалилась банка с болтами и раскатилась по бетонному полу. Через секунду во дворе взревел двигатель. Через две — затих за воротами.

Из-за чего они ссорились — это было неважно. Это было из-за человека, которого в их семье не называли по имени девять лет. Это было важно тогда, в мастерской, в десять вечера. Сейчас это не значило ничего. Сейчас значило только «да катись ты».

* * *

Мотоцикл Тёме подарил он.

Двадцать первого ноября, на девятнадцатилетие. Собирал его полгода — по ночам, по выходным, из старой «Хонды», которую купил по объявлению за копейки у какого-то деда в Сертолово. Перебрал двигатель. Поменял подвеску. Перекрасил бак в красно-чёрный, Тёмины любимые цвета. Сам нарисовал на нём тонкую белую молнию, через весь бок.

Когда он выкатил его из мастерской во двор и сдёрнул с него брезент, Тёма сначала ничего не сказал. Просто стоял и смотрел. Потом медленно подошёл, провёл рукой по баку,

по молнии, по рулю. И только потом повернулся к Дану, и у него было такое лицо, что Дан отвернулся — он не умел, когда на него так смотрят.

— Это мне? — спросил Тёма.

— Нет. Поршню, — сказал Дан. — Конечно, тебе.

Тёма тогда обнял его. Крепко, по-медвежьи, так, что у Дана хрустнула спина. Ему было девятнадцать лет, и он был уже выше Дана на полголовы, и обнимался всё равно как в пять.

— Только до апреля не ездить, — сказал тогда Дан. — Понял? Зима. Наледь. Ты не умеешь ещё.

— Понял.

Тёма начал ездить в начале марта. Едва сошёл снег с асфальта.

Дан ругался. Тёма смеялся и говорил, что уже весна, что на улице плюс пять, что он аккуратно. Дан ругался сильнее. Тёма перестал говорить, когда едет, и просто уезжал.

Наледь на стыке Благовещенского моста — так было написано в протоколе, который им показали вчера. Скорость небольшая. Других участников ДТП нет. Занесло на стыке, упал, ударился головой о бордюр.

Небольшая скорость. Хороший шлем. Наледь размером с ладонь.

И мотоцикл, который собрал Дан.

* * *

В шесть вечера к ним снова вышла реаниматолог. Та же — с короткой седой стрижкой. На кармане халата у неё было вышито: «Тамара Викторовна». Дан почему-то запомнил это с первого раза.

Она подошла к маме и села рядом на соседний стул. Не на корточки, как в кино, не стоя над ними — просто села, как садятся рядом в автобусе. Сложила руки на коленях. Помолчала.

— Ольга Николаевна, — сказала она. — Мы провели повторное исследование. Сейчас собирается комиссия. Это займёт какое-то время.

Мама кивнула.

— Какая комиссия? — спросил Дан. — Зачем?

Тамара Викторовна посмотрела на него снизу вверх.

— Для констатации, — сказала она тихо. — Мы должны убедиться по всем протоколам.

— В чём убедиться?

— Даня, — сказала мама.

— Нет, я хочу знать. В чём убедиться?

Врач помолчала. Потом сказала — ровно, тихо, без жалости и без жестокости. Так говорят люди, которые произносили эти слова сотни раз и так и не научились произносить их легко.

— В смерти мозга.

Дан стоял и смотрел на неё. В коридоре было очень светло. Фикус у окна. Белая плесень на чёрной земле.

— У него сердце бьётся, — сказал он. — Я видел. Семьдесят восемь. Он тёплый.

— Сердце может работать, когда мозг уже погиб, — сказала Тамара Викторовна. — Оно автономно. Пока аппарат дышит за него, сердце будет биться. Какое-то время. Но это… — она запнулась, впервые за всё время, — это уже не он, Даниил Сергеевич. Мне очень жаль.

Дан хотел сказать, что она врёт. Что это неправда. Что он держал Тёму за руку час назад, и рука была тёплая, и это был он, Тёма, его брат, с его кольцом с черепом, с его дурацкими ресницами.

Он ничего не сказал. Он сел на стул рядом с мамой и смотрел на свои руки. На них было машинное масло. Въевшееся в кожу, в трещины на костяшках, под ногти. Он не мыл руки два дня.

Мама взяла его ладонь в свою. Её рука была сухой и прохладной.

* * *

Комиссия заседала два часа. Дан не знал, что это значит — «заседала». Он представлял себе людей в белых халатах за длинным столом, как в кино про суд. Наверное, всё было не так. Наверное, они просто ходили к Тёминой кровати, светили фонариком ему в глаза, проверяли какие-то рефлексы, снимали какие-то графики. Он не спрашивал. Он не хотел знать.

В девятнадцать сорок Тамара Викторовна снова вышла. Мама встала ей навстречу. Дан остался сидеть — ноги не держали.

Врач сказала всё очень коротко. Мама кивнула. Один раз. Потом ещё раз. Потом спросила:

— Можно мне к нему?

— Можно. Ненадолго.

Мама пошла. Дан не пошёл. Он сидел на стуле и смотрел на дверь, за которой она скрылась, и не мог заставить себя встать. Ноги были ватные. Внутри было пусто — не больно, не страшно, а именно пусто, будто кто-то вынул из груди всё, что там лежало, и оставил только сквозняк.

Мама вернулась через десять минут. Глаза у неё были сухие. Она подошла к Дану и положила руку ему на голову. Как в детстве, когда он болел.

— Попрощайся, — сказала она.

— Не могу.

— Можешь. Иди. Потом не простишь себе.

Он пошёл.

Тёма лежал так же, как утром. Аппарат дышал. Монитор пищал. Зелёная линия бежала по экрану. Семьдесят шесть.

Дан подошёл к кровати. Взял Тёмину руку. Тёплую. Всё ещё тёплую.

Он хотел сказать что-то. Что-нибудь правильное. «Прости». «Я тебя люблю». «Ты лучший брат на свете». Всё, что говорят в фильмах.

Он стоял, держал брата за руку и не мог выдавить из себя ни слова. Горло будто зашили изнутри. Он открывал рот, и ничего не выходило. Только воздух.

— Мелкий, — сказал он наконец. Хрипло, почти беззвучно.

Так он звал его с самого детства. Когда Тёма родился, Дану было шесть, и он, глядя на красный сморщенный свёрток в маминых руках, сказал: «Какой мелкий». С тех пор так и пошло. Тёма вырос, обогнал его ростом, а Дан всё равно звал его мелким. Тёма бесился. Дан называл его так ещё чаще.

— Мелкий, — сказал он ещё раз.

Больше он ничего не смог сказать.

Он постоял ещё минуту. Потом положил руку брата обратно на одеяло — осторожно, ладонью вниз, как она лежала. Поправил кольцо с черепом, которое съехало набок.

И вышел.

* * *

Им сказали, что делать дальше. Какие документы. Куда звонить. Когда можно будет забрать тело — через двое суток, после вскрытия, в морге при больнице, вот телефон, вот часы работы. Им отдали пакет с Тёминими вещами — тем, что было на нём в ночь аварии. Куртка, разрезанная по швам. Ключи. Бумажник с пятьюстами рублями и студенческим. Телефон с треснувшим экраном. Шлем.

Шлем был цел. Только сбоку — глубокая белая царапина. И сзади — маленькая красная наклейка: «II+».

Дан взял шлем в руки и долго держал. Потом сунул под мышку. Как Тёма.

Он отвёз маму домой, в Купчино. Всю дорогу она молчала и смотрела в окно. Когда он остановился у подъезда, она не сразу вышла. Сидела, держа на коленях пакет с вещами.

— Останешься? — спросила она.

Дан покачал головой.

— Утром приеду.

— Даня.

— Мам. Не могу. Утром приеду, честно.

Она посмотрела на него. Долго. Потом кивнула и вышла из машины. Дан смотрел, как она идёт к подъезду — маленькая, в длинном пальто, с пакетом в руках. Как набирает код. Как дверь закрывается за ней.

На пятом этаже загорелось окно. Тёмино окно. Мама зашла в его комнату первой.

Дан смотрел на это окно, пока не загудела машина сзади. Тогда он завёл двигатель и уехал.

* * *

В мастерской было холодно и темно. Отопление на ночь выключали. Дан не стал включать свет — сел прямо на пол, у двери, прислонившись спиной к железной стене, и сидел.

Глаза постепенно привыкли к темноте. Проступили очертания: верстак, стеллажи с запчастями, два мотоцикла клиентов под брезентом. Тёмина толстовка на крючке у двери — серая, с капюшоном, он забыл её в тот вечер. Его кружка на верстаке — белая, с надписью маркером: «ТЁМА. НЕ ТРОГАТЬ. ТЕБЯ ЭТО КАСАЕТСЯ, ГОША». В кружке до сих пор был недопитый чай. С плёнкой сверху.

На полу у двери поблёскивали болты. Те самые, из упавшей банки. Дан не убрал их в ту ночь — некогда было. Не убрал и потом — не приходил сюда.

Из темноты, из-под верстака, вылез Поршень. Рыжий, толстый, с порванным ухом. Его подобрал Тёма два года назад — котёнком, в луже у гаражей, полудохлого. Принёс за пазухой, отпаивал молоком из пипетки, назвал Поршнем, потому что «он тарахтит, когда мурлычет, как двигатель». Поршень признавал только Тёму. Дана терпел.

Сейчас кот подошёл к нему, осторожно, по кругу, обнюхал его ботинки. Потом сел рядом и посмотрел на дверь. И мяукнул. Тихо, вопросительно.

Он ждал Тёму. Тёма кормил его каждый вечер в девять.

— Не придёт он, — сказал Дан.

Поршень посмотрел на него. И снова на дверь.

Дан встал. Нашёл в шкафчике пакет с кормом. Насыпал в миску. Кот не пошёл к миске. Сидел и смотрел на дверь.

Дан опустился на корточки и начал собирать болты. По одному. Медленно. Каждый поднимал с пола, рассматривал — зачем-то, сам не знал зачем, — и клал в банку. Двадцать три болта. Двадцать четыре. Один закатился под стеллаж, и Дан полез за ним, лёг на холодный бетонный пол, шарил рукой в темноте, в пыли, в паутине, пока не нащупал.

Двадцать пять.

Он поставил банку на полку. На то же место, откуда она упала.

* * *

Потом он достал телефон.

Экран осветил его лицо снизу — он увидел своё отражение в тёмном окне мастерской. Небритый, серый, с запавшими глазами. Чужой человек.

Чат с Тёмой был вторым сверху. Первым — мама.

Он открыл его.

Последнее фото: Поршень, спящий в коробке из-под карбюратора. Подпись: «Он опять считает себя деталью». Его ответ: «Смешно».

Ниже — то, что пришло четырнадцатого марта в двадцать три тридцать восемь.

Голосовое сообщение. Одна минута двенадцать секунд.

Синяя точка рядом. Не прослушано.

Он помнил, как оно пришло. Он сидел тогда здесь, в мастерской, на этом самом полу, злой как чёрт. Телефон пискнул. Он посмотрел на экран — «Тёма: голосовое сообщение» — и бросил телефон на верстак экраном вниз. Пусть подождёт, подумал он. Пусть помучается. Утром послушаю.

Через тридцать четыре минуты позвонил инспектор.

Дан смотрел на синюю точку. На серую полоску, по которой бежала бы звуковая дорожка, если бы он нажал. Одна минута двенадцать секунд.

Последнее, что Тёма ему сказал.

Он положил большой палец на кнопку воспроизведения. Не нажал. Просто положил.

Если нажать — это будет всё. Это будут последние слова. Больше не будет ничего — ни голосовых в два часа ночи, ни фотографий Поршня, ни дурацких шуток. Только эти семьдесят две секунды. Один раз послушать — и всё, они кончатся. Тёма кончится.

А пока не нажал — у Тёмы ещё осталось, что ему сказать.

Палец лежал на кнопке. Экран погас. Дан коснулся его снова. Экран загорелся. Синяя точка. Одна минута двенадцать секунд.

Что там? Что он хотел сказать? Злился? Кричал? Обзывал его? Говорил, что ненавидит? Что больше никогда не придёт?

Или что-то другое?

Дан не знал, что страшнее.

Поршень подошёл и лёг рядом, прижавшись тёплым боком к его ноге. Впервые за два года.

Дан положил телефон на пол экраном вниз. Положил руку коту на спину. Шерсть была мягкая, тёплая, и под ладонью было слышно, как он тарахтит — тихо, неуверенно, как двигатель, который никак не может решить, заводиться ему или нет.

Они сидели так вдвоём, в холодной тёмной мастерской, до самого утра.

Он так и не нажал.

Глава 3

Мира

Пульс: 118

Сначала был звук.

Не писк мониторов — его я узнала сразу, я слышала его восемь лет и перестала замечать, как перестают замечать тиканье часов в собственной квартире. Другой звук. Глубже. Ближе. Изнутри.

Тук. Тук. Тук. Тук.

Ровно. Сильно. Быстро. Без единой запинки.

Я лежала с закрытыми глазами и слушала. Сначала я не понимала, что это. Мне казалось, что кто-то рядом стучит пальцем по столу. Настойчиво, нетерпеливо, как стучат, когда ждут ответа. Тук-тук-тук-тук. Я хотела попросить его перестать. Открыла рот — и не смогла: в горле что-то было, твёрдое, большое, и я не могла сглотнуть.

Тогда я испугалась. И открыла глаза.

Потолок. Белый, с квадратными лампами. Чьё-то лицо надо мной — в маске, в шапочке, только глаза: серые, с морщинками в углах.

— Тихо, тихо, — сказало лицо. — Не дёргайся. У тебя трубка во рту. Сейчас уберём. Дыши спокойно. Ты в реанимации. Операция закончилась. Всё хорошо.

Всё хорошо, — повторила я про себя. Операция закончилась.

И тогда я поняла, что это за звук.

* * *

Трубку вынули через час. Это было отвратительно — будто из тебя вытягивают шланг от пылесоса, — и потом ещё долго болело горло, и голос был сиплый, как у старухи. Медсестра дала мне пососать кусочек льда, завёрнутый в марлю. Это был самый вкусный лёд в моей жизни.

Я лежала и не могла пошевелиться. Не потому, что не пускали. Просто всё тело было тяжёлым, чужим, как будто меня разобрали на части и собрали обратно немного не так. Грудь болела — тупо, глубоко, по всей длине, от горла до живота. Из-под одеяла тянулись трубки и провода. Мне было страшно посмотреть, куда они ведут.

Но я слушала.

Тук. Тук. Тук. Тук.

Оно не спотыкалось. Ни разу. Я слушала, затаив дыхание, и ждала — сейчас, сейчас пропустит. Сейчас замрёт на долю секунды, а потом спохватится и ударит дважды. Как всегда.

Оно не пропускало. Оно стучало и стучало, ровно, мощно, без пауз, без сбоев. Как будто ему было всё равно, слушаю я или нет. Как будто оно знало, что делает, и делало это всю жизнь.

Чужое сердце, — подумала я. Во мне бьётся чужое сердце.

Я ждала, что почувствую что-нибудь особенное. Отторжение. Ужас. Благодарность. Хоть что-то, что соответствовало бы моменту.

Я чувствовала только одно: оно очень торопится. Оно стучало быстро — гораздо быстрее, чем моё старое. Как будто куда-то бежало. Как будто опаздывало.

* * *

Маму пустили ко мне вечером. На пять минут.

Она вошла в реанимационном халате, в маске, в бахилах, и остановилась в двух шагах от кровати. Смотрела на меня поверх маски огромными глазами — красными, опухшими. Она не накрасилась и сегодня.

— Мирочка, — сказала она и не подошла. Как будто боялась, что я рассыплюсь от прикосновения.

— Мам, — сказала я сипло. — Иди сюда.

Она подошла. Взяла меня за руку — осторожно, двумя пальцами, обходя катетер. И заплакала.

Мама плакала так, как плачут люди, которые восемь лет держались. Беззвучно, всем телом, уткнувшись лбом в край моей кровати. Плечи у неё тряслись. Я лежала и гладила её по голове свободной рукой, по жёстким, давно не крашенным волосам, и смотрела на монитор.

Сто восемнадцать. Сто восемнадцать. Сто семнадцать.

Цифры не менялись.

Моя мама рыдала у моей кровати — впервые за восемь лет при мне, — и мне было так больно смотреть на неё, что перехватывало горло. А сердце стучало ровно. Сто восемнадцать. Как будто ничего не происходило.

Раньше было не так. Раньше, когда мама плакала, — а она плакала, я знала, по ночам, на кухне, думая, что я сплю, — моё старое сердце сразу начинало метаться, спотыкаться, частить. Я слышала мамины всхлипы через стенку, и через секунду мне становилось трудно дышать. Мы с ним всегда чувствовали одно и то же. Одновременно.

А это — не чувствовало ничего.

Мама ушла через пять минут. Её выпроводила медсестра, мягко, но настойчиво. В дверях мама обернулась и помахала мне рукой. Я помахала в ответ.

Я лежала одна и смотрела на монитор.

Сто восемнадцать. Сто восемнадцать.

Потом, минут через пять или семь, когда я уже почти перестала смотреть, цифры вдруг поползли вверх. Сто двадцать два. Сто двадцать шесть. Сто тридцать.

Сердце застучало сильнее, быстрее. Я почувствовала, как оно бьётся в горле, в висках, в кончиках пальцев. Так бывает, когда испугаешься, или заплачешь, или увидишь что-то очень важное.

Только я уже не плакала. Мама ушла. Ничего не происходило. Я просто лежала.

А сердце — плакало. Через пять минут после меня.

* * *

Шор пришёл утром. Уже не в хирургическом костюме, а в своём обычном халате, мятом, с оттопыренным от леденцов карманом. Сел на стул у кровати, вытянул длинные ноги. Он выглядел так, будто не спал неделю. Наверное, так и было.

— Ну, Лаврова, — сказал он. — Как самочувствие?

— Как будто меня переехал трамвай.

— Это нормально. Тебя распилили пополам и собрали обратно. Трамвай — это ещё мягко. — Он достал из кармана леденец, развернул, сунул в рот. — Что-нибудь беспокоит? Кроме трамвая?

Я помолчала.

— Оно не такое, — сказала я.

— Кто?

— Сердце. Оно… Илья Маркович, оно не чувствует. Вчера мама плакала, а оно даже не ускорилось. А потом, когда она ушла, через пять минут вдруг заколотилось. Как будто с опозданием. Это нормально? Оно меня не слышит?

Шор посмотрел на меня поверх очков. Долго, внимательно. Потом вдруг улыбнулся.

— Вот это ты заметила, — сказал он. — Молодец. Большинство замечают через месяц. Слушай.

Он наклонился вперёд, упёрся локтями в колени.

— У любого сердца, — сказал он, — есть провода. Нервы. Они идут от мозга. Ты пугаешься — мозг отправляет сигнал по нервам — сердце ускоряется. Мгновенно. За долю секунды. Это то, что было у тебя раньше.

— Было.

— А когда мы пересаживаем сердце, эти провода приходится перерезать. Сосуды мы сшиваем. Нервы — нет. Их нельзя сшить. — Он развёл руками. — Так что твоё новое сердце, Мира, ни с чем не связано. Оно работает само по себе. Автономно. У него свой внутренний ритм, поэтому оно стучит быстрее, чем обычное. Сто, сто десять в покое — это нормально для пересаженного сердца. Не пугайся.

— А как же… — я запнулась. — Как же оно узнаёт? Что мне страшно. Что больно. Что я… что-то чувствую.

— Через кровь, — сказал Шор. — Когда ты волнуешься, надпочечники выбрасывают адреналин. Он идёт с кровью по всему телу. И через какое-то время доходит до сердца. Тогда оно и ускоряется. Через несколько минут. Когда ты уже, может быть, успокоилась.

Он помолчал. Покатал леденец во рту.

— Оно узнаёт обо всём последним, — сказал он. — Голова уже знает. Руки знают. Глаза знают. А сердце — нет. Сердце догоняет. Вот такая у тебя теперь жизнь, Лаврова. Сначала думаешь, потом чувствуешь.

Я лежала и смотрела на него.

— Это навсегда?

— Частично нервы иногда прорастают. Через годы. У кого-то. Немного. — Он пожал плечами. — Не обещаю. Скорее всего, да. Навсегда.

Оно узнаёт обо всём последним.

Я повторила это про себя несколько раз. Мне стало грустно. И почему-то немного смешно. Восемь лет моё сердце знало обо всём первым — раньше меня, раньше мамы, раньше врачей. Оно спотыкалось, когда я ещё не успевала понять, что испугалась. А теперь я буду знать первой. И ждать, пока оно меня догонит.

— Илья Маркович.

— М?

— Можно мне его послушать?

Шор поднял брови. Потом, ничего не сказав, снял с шеи стетоскоп — старый, с потёртыми трубками, с маленькой наклейкой «ШОР» на мембране. Вставил мне в уши дужки. Осторожно, очень осторожно отодвинул край больничной рубашки — там, где не было повязки, слева, под рёбрами, — и приложил холодный металлический кружок.

И я услышала.

Не так, как слышала изнутри. Громче. Ближе. Отчётливее. Тук-тук. Тук-тук. Будто кто-то большой и сильный ходил там, внутри меня, по пустому дому, тяжёлыми, уверенными шагами. Открывал двери. Зажигал свет в комнатах, где восемь лет было темно.

Тук-тук. Тук-тук.

Я лежала и слушала, и по лицу у меня текли слёзы, а сердце стучало ровно, как будто ничего не происходило. Сто девятнадцать.

— Это теперь твоё, — сказал Шор тихо.

— Оно не моё, — сказала я.

— Твоё. — Он забрал стетоскоп. Аккуратно поправил на мне рубашку. — Он его отдал. А ты взяла. Теперь оно твоё. И твой единственный долг — беречь его. Понятно?

Я кивнула.

Потом спросила. Я знала, что нельзя. Он знал, что я спрошу.

— Он был молодой?

Шор долго смотрел в окно. Там было серое утро, крыша соседнего корпуса, мокрые голуби на карнизе.

— Молодой, — сказал он наконец. — Здоровый. Сильное сердце. Это всё, что я могу тебе сказать, Мира. И это уже больше, чем я имею право.

Он встал. Положил мне руку на голову — тяжёлую, тёплую — и подержал секунду.

— Не ищи его, — сказал он. — Слышишь? Я знаю, ты захочешь. Все хотят. Не ищи. Ему этим не поможешь. А себе — навредишь.

— Хорошо, — сказала я.

Шор посмотрел на меня поверх очков. Он мне не поверил. Я сама себе не поверила.

* * *

На третий день меня посадили.

Это звучит смешно — «посадили», как будто я была растением или преступником. Но так и было: пришла физиотерапевт, маленькая жилистая женщина по имени Римма, с короткой стрижкой и руками, как у штангиста. Она обхватила меня за спину и осторожно, медленно, по сантиметру, приподняла. Грудь взорвалась болью. Я вскрикнула. Римма сказала: «Терпи, красавица, ты теперь железная», — и держала меня, пока я не отдышалась.

Я сидела на краю кровати, свесив ноги, держась за её плечо, и мир вокруг кружился. Медленно, как карусель в парке, когда её уже выключили, а она ещё едет по инерции.

А сердце стучало. Ровно. Спокойно. Сто двенадцать. Ему было всё равно, что мне больно. Ему было всё равно, что я сижу первый раз за трое суток. Оно знало только одно — что надо стучать.

— Дыши, — говорила Римма. — Глубоко. Вот так. Ещё.

Я дышала.

Я дышала, и вдруг поняла: я дышу. Глубоко. До самого дна лёгких. И не задыхаюсь.

Восемь лет я не могла вдохнуть по-настоящему. Восемь лет на середине вдоха что-то останавливало меня — тяжесть, теснота, будто на грудь положили мокрое пальто. Я привыкла дышать вполсилы, по верхам, мелко, как дышат птицы.

А сейчас — дышала. Полностью. Больно, со швами, с трубками, но — полностью.

Я заплакала. Опять. Я, кажется, только и делала все эти дни, что плакала.

Римма ничего не сказала. Просто держала меня за плечи и ждала. Наверное, она видела это сто раз.

Сердце догнало меня минут через пять. Когда я уже снова лежала и смотрела в потолок, оно вдруг застучало часто-часто, и на мониторе поползли цифры, и дежурная медсестра подошла посмотреть, всё ли в порядке.

— Всё нормально, — сказала я ей. — Это оно плачет. С опозданием.

Медсестра посмотрела на меня как на сумасшедшую и ушла.

* * *

На пятый день меня перевели из реанимации в отделение. Не обратно, к Сашке, — в другое, для тех, кому уже пересадили. Там были отдельные боксы со стеклянными дверями и строгие правила: маски, обработка рук, никаких цветов, никаких лишних посетителей. Иммунитет мне теперь подавляли таблетками — специально, чтобы организм не отверг чужое сердце, — и любая простуда могла стать опасной.

Таблетки нужно было пить по часам. Строго. В девять утра и в девять вечера. Минута в минуту. Медсестра приносила их в маленьком пластиковом стаканчике и стояла рядом, пока я не проглочу. Белые, жёлтые, розовые. Много.

— Привыкай, — сказала она. — Теперь это на всю жизнь.

На всю жизнь, — подумала я. Как и сердце.

Сашку ко мне не пускали. Ей тоже было нельзя — она сама была слишком слабой, слишком уязвимой, любая инфекция из нашего отделения могла её убить. Но на шестой день медсестра Галя — та самая, с родинкой над губой — принесла мне сложенный вчетверо тетрадный листок.

— Почтальон, — сказала она и подмигнула. — Из соседнего корпуса.

Я развернула листок.

Там было нарисовано сердце. Кривое, чёрным маркером — тем самым, которым Сашка красила ногти. Над сердцем — стрелочка и надпись печатными буквами: «НОВЫЙ МОТОР. НЕ ТРОГАТЬ».

А ниже, тем же маркером, мелким, неровным почерком:

«Лаврова. Мне Галя сказала, ты проснулась. Я так и знала, ты же зануда, ты не можешь не проснуться, тебе обязательно надо всё делать правильно. Как мотор? Стучит? Громко? Мне Галя сказала, у вас там теперь всё по часам, таблетки, маски, режим. Ты там, наверное, счастлива, как свинья в луже, ты ж любишь режим.

Шаверма ждёт. Я договорилась с мамой, она проверила — палатка на Сенной на месте, дядька с золотым зубом на месте. Как только тебя выпустят — ты идёшь туда и ешь за меня тоже. Двойную. С картошкой. И фотку мне. Не парковку — шаверму.

Я тут лежу, жду. Скучно без тебя. Новую соседку пока не подселили, говорят, скоро. Надеюсь, не храпит.

Не реви. Я знаю, ты ревёшь. Перестань.

С.»

Я читала это три раза. Потом сложила листок вчетверо и положила под подушку.

Потом попросила у Гали ручку и бумагу. Долго думала, что написать. Написала:

«Саш. Стучит. Громко. Очень быстро, как будто опаздывает. Шор говорит, у него нет нервов, поэтому оно узнаёт обо всём последним. Я сначала плачу, а оно через пять минут. Представляешь? Мы теперь плачем по очереди.

Я не реву. (Реву.)

Шаверма — только вместе. Я одна не пойду. Я подожду.

Твой браслет у мамы — его сняли с меня в операционной и отдали ей. Завтра принесёт. Буду считать.

За двоих.

М.»

Галя унесла записку. Я лежала и смотрела в потолок, и мне было легко и тяжело одновременно, как бывает, когда кто-то очень родной далеко.

* * *

Мама принесла браслет на следующий день. Вместе с моими тапочками, зарядкой для телефона и пакетом апельсинов, которые мне было нельзя.

— Я забыла, что нельзя, — сказала она виновато. — Медсестра на входе отобрала. Сказала, что можно только то, что разрешено диетой. Я теперь эту диету наизусть выучу, клянусь.

— Ничего, мам.

Она застегнула браслет на моём запястье. Пластырь на треснувшем ремешке уже отклеивался, и мама, ни слова не говоря, достала из сумки новый кусочек пластыря и аккуратно переклеила. Она всегда носила в сумке пластыри. Восемь лет.

Цифры на экранчике мигнули и загорелись.

Сто четыре.

Я смотрела на них долго.

Неделю назад здесь было семьдесят один. Неделю назад этот браслет считал удары моего сердца — больного, усталого, старого, которое восемь лет старалось за двоих. Теперь он считал удары другого. Чужого. Молодого. Здорового.

Сашка сказала: «Будешь считать за двоих». Она имела в виду себя и меня.

Теперь нас и правда было двое. Только второй была не Сашка.

* * *

Ночью я не спала. В боксе было тихо — гораздо тише, чем в нашей старой палате. Никто не ворочался, никто не вздыхал во сне, не тикала Сашкина капельница. Только монитор пищал у изголовья, и за стеклянной дверью горела синяя ночная лампа.

Я лежала и слушала.

Тук. Тук. Тук. Тук.

Оно стучало. Не останавливалось. Не спотыкалось. Оно не знало меня, а я не знала его. Мы были как два незнакомых человека, которых посадили в одно купе дальнего поезда, — сидим друг напротив друга, молчим, смотрим в окно и не знаем, о чём говорить.

Кем ты был? — спросила я его мысленно.

Оно стучало. Сто два. Сто три.

Как тебя звали? Ты любил кого-нибудь? Тебя любил кто-нибудь? Тебя сейчас кто-нибудь ищет? Кто-нибудь сидит сейчас на кухне, ночью, и не может спать, потому что тебя нет?

Тук. Тук. Тук.

Оно не отвечало. Оно просто работало. Ровно, сильно, как работают люди, которые не привыкли говорить о себе.

Я дотянулась до тумбочки и взяла телефон. Открыла камеру.

В моём боксе тоже было окно. Небольшое, под потолком, с матовым нижним стеклом. В верхнюю, прозрачную часть было видно кусок неба — тёмного, мартовского, с рыжими отсветами города на облаках. И край крыши соседнего корпуса. И антенну на ней, тонкую, как карандашный штрих.

Я вытянула руку и сфотографировала.

Это была триста двадцать девятая фотография в «Виде из окна».

И первая — из новой жизни.

Я не стала её никак подписывать. Просто выложила. Через минуту под ней появилось сердечко — от аккаунта с ником «nevskaya_rybka», который лайкал мои парковки уже год и ни разу ничего не написал.

Я положила телефон на грудь. Прямо туда, где под повязкой стучало чужое сердце. Телефон мелко вздрагивал в такт.

— Спасибо, — сказала я шёпотом. Не знаю кому. Ему. Тому, кто был до меня.

Сердце стучало дальше. Сто три.

А минут через пять, когда я уже засыпала, вдруг застучало быстрее.

Глава 4

Дан

Морг при больнице на Литейном находился во дворе, в отдельном жёлтом здании с зарешёченными окнами. К нему вела асфальтовая дорожка между сугробами, почерневшими от копоти. На крыльце курил санитар в синем халате поверх свитера. Увидев Дана, он затушил сигарету о перила и кивнул:

— За документами?

— Да. Яворский.

— Проходите. Второй кабинет направо.

Девятнадцатое марта. Утро. Мама осталась дома — она не могла сюда ехать. Дан сказал, что справится сам. Документы, справки, свидетельство, договориться с агентом о времени. Обычные бумажные дела. Он умел делать бумажные дела. Он делал их девять лет, с тех пор как отец ушёл и оставил после себя долг за квартиру, сломанный кран и мать, которая не умела разговаривать с жилконторой.

В кабинете было тепло и пахло формалином и растворимым кофе. За столом сидела женщина лет пятидесяти, в вязаном жилете поверх халата, с очками на цепочке. Она нашла папку, проверила паспорт, дала расписаться в трёх местах.

— Здесь заключение судебно-медицинской экспертизы, — сказала она, протягивая ему листы. — Здесь — справка для загса. Свидетельство получите там. Вот копия для вас.

Дан взял бумаги. Он не собирался их читать. Хотел сунуть в папку и уйти. Но глаза зацепились за строчку в середине страницы, напечатанную мелким шрифтом, — зацепились случайно, как цепляется рукав за гвоздь.

«…изъятие органов (сердце, почки, печень) для целей трансплантации произведено в соответствии со статьёй 8 Закона Российской Федерации „О трансплантации органов и (или) тканей человека“ на основании разрешения…»

Он прочитал это один раз. Потом второй. Слова были русские, знакомые, по отдельности понятные. Вместе они не складывались ни во что.

— Простите, — сказал он. — Что это?

Женщина посмотрела, куда он показывает. Надела очки. Сняла.

— Это изъятие органов, — сказала она.

— Какое изъятие?

Она помолчала. Посмотрела на него внимательно — тем особым взглядом, каким смотрят люди, которые вдруг понимают, что сейчас случится что-то, к чему они не готовы.

— Для пересадки, — сказала она осторожно. — Вам… разве вам не сообщили?

* * *

Потом он помнил всё урывками.

Помнил, как стоял в коридоре больничного административного корпуса — уже не морга, другого, в который его отправили, — и требовал главного врача. Помнил, как секретарша, молоденькая, с наращёнными ресницами, испуганно хлопала этими ресницами и говорила, что главный врач на совещании. Помнил, как он сказал, что будет ждать. И ждал. Два часа. На неудобном пластиковом стуле, держа на коленях папку с документами.

Потом его принял не главный врач, а его заместитель. Мужчина лет пятидесяти, лысеющий, в хорошем костюме, с мягкими руками и спокойным голосом. Он усадил Дана в кресло, предложил воду. Дан отказался.

— Даниил Сергеевич, — сказал заместитель. — Прежде всего — мои искренние соболезнования. Я понимаю, как вам тяжело.

— Вы забрали у моего брата сердце.

— Я понимаю, что вы…

— Вы. Забрали. У моего брата. Сердце. И почки. И печень. И никому ничего не сказали.

Заместитель вздохнул. Сложил руки домиком на столе.

— Позвольте я объясню, — сказал он. — В нашей стране действует так называемая презумпция согласия. Это значит, что изъятие органов у умершего человека допускается, если ни он сам при жизни, ни его близкие родственники не заявили о несогласии. Закон не обязывает медицинское учреждение спрашивать разрешения у семьи. Конституционный суд ещё в две тысячи третьем году подтвердил, что эта норма не противоречит Конституции. Всё было сделано строго в рамках закона.

— Мы были здесь, — сказал Дан. — Мама и я. Двое суток. В коридоре. На стульях. Вы могли выйти и спросить.

— Закон этого не требует.

— Я не про закон. Я про… — Он замолчал. Не знал, как назвать то, про что он. — Мы были здесь. За стенкой. Вы выходили к нам каждые несколько часов. Тамара Викторовна выходила. Она садилась рядом с мамой. Она говорила «мне очень жаль». И ни разу не сказала, что вы собираетесь его…

Он не смог договорить.

— Почему вы не спросили?

Заместитель долго молчал. Потом сказал очень тихо — и, кажется, впервые за весь разговор честно:

— Потому что в таком состоянии люди почти всегда говорят «нет».

— И правильно говорят!

— Может быть. — Он развёл руками. — Но за этим «нет» — чьи-то жизни. Ваш брат, Даниил Сергеевич, был молодым и абсолютно здоровым человеком. Его органы… Его органы сейчас спасают людей. Несколько человек. Я понимаю, это не утешение. Но это правда.

Дан встал. Кресло откатилось назад и ударилось о стену.

— Мне плевать, — сказал он. — Слышите? Мне плевать на этих людей. Я их не знаю. Я не хочу их знать. Я хочу, чтобы мой брат…

Он не договорил и это. Развернулся и вышел. Дверь хлопнула так, что в приёмной секретарша уронила телефонную трубку.

* * *

Он долго сидел в машине у больничных ворот. Не заводил двигатель. Смотрел на жёлтое здание морга за решёткой забора.

Он думал о той ночи. С шестнадцатого на семнадцатое. О том, как он сидел в мастерской, на холодном полу, с Поршнем под рукой, с телефоном экраном вниз. И не знал, что в это самое время, в нескольких километрах от него, его брата…

Он запретил себе думать дальше. Сжал руль так, что побелели костяшки.

Он думал о маме. Как ей сказать. Говорить ли вообще. Может быть, не говорить. Может быть, она и так знает — она же медсестра, она всё знает, она, может быть, догадывалась ещё тогда, в коридоре, когда смотрела на врачей своими сухими глазами.

Нет. Если бы знала — сказала бы ему. Мама не умела врать. Отец умел. Мама — нет.

Он вспомнил курносую медсестру у Тёминой кровати. «Да. У него очень хорошее сердце». Она тогда открыла рот и закрыла. Она хотела что-то сказать. Она знала.

Они все знали. Все, кто проходил мимо них по коридору, все, кто кивал им, кто приносил маме воды, кто говорил «держитесь». Они уже тогда знали, что будет. Они смотрели на Тёму — живого ещё, тёплого, с бьющимся сердцем — и видели в нём не человека, а…

Он ударил ладонью по рулю. Один раз. Сильно. Рука заныла.

Потом завёл двигатель и поехал к маме.

* * *

Мама выслушала его на кухне. Он рассказывал стоя, расхаживая от плиты к окну и обратно — четыре шага туда, четыре обратно, — потому что сидеть не мог. Говорил громко, сбивчиво, перескакивая с одного на другое. Про бумагу из морга. Про строчку мелким шрифтом. Про заместителя в хорошем костюме. Про презумпцию согласия, про Конституционный суд, про «в таком состоянии люди почти всегда говорят „нет“».

Мама сидела за столом и смотрела на свои руки. Не перебивала. Не задавала вопросов.

Когда он закончил, она долго молчала. На плите тихо посвистывал чайник — она поставила его, когда он пришёл, и забыла выключить.

— Мам?

— Я слышу, Даня.

— Ты понимаешь, что они сделали?

— Понимаю.

— И что? Ты ничего не скажешь?

Мама подняла голову. Глаза у неё были сухие, как все эти дни. Только под глазами — тёмные круги, будто нарисованные углём.

— Кому? — спросила она.

— Что «кому»?

— Кому его сердце, — сказала мама. — Ты не узнал?

Дан остановился посреди кухни.

— Какая разница кому?!

— Мне — есть разница.

— Мам. Они его разрезали. Без спроса. Как… как машину на запчасти. Пока мы сидели за стенкой. А ты спрашиваешь — кому?!

Мама встала. Выключила чайник. Постояла у плиты, спиной к нему, держась рукой за край столешницы.

— Даня, — сказала она тихо, не оборачиваясь. — Я двадцать шесть лет работаю с детьми. У меня были дети, которые ждали. Почку. Печень. Сердце. Одна девочка, Катенька, ждала сердце три года. Ей было шесть, когда она встала в лист. Девять, когда… — Она замолчала. — Она не дождалась. Её мама потом приходила ко мне каждый год, в день рождения Кати. Приносила конфеты для отделения. Шесть лет приходила. Потом перестала.

— Мам, это другое.

— Это не другое. — Она обернулась. — Это то же самое, Даня. Это просто с другой стороны.

Дан смотрел на неё. Маленькая, седая, в старом домашнем халате, у плиты, на которой остывал чайник. Его мама.

— Я не хочу, чтобы он кого-то спасал, — сказал он. Голос сорвался. — Ты понимаешь? Я не хочу, чтобы он был героем. Чтобы от него была польза. Я хочу, чтобы он был живой. Чтобы он был здесь. Чтобы он ел твои котлеты и ржал над тупыми видео и кидал носки под кровать. Вот чего я хочу.

— Я тоже, — сказала мама.

Она подошла к нему. Обняла. Он был выше её на две головы, и она уткнулась лицом ему в грудь, куда-то в район солнечного сплетения, и стояла так.

— Я тоже, Даня, — сказала она ему в куртку. — Но этого не будет.

* * *

Хоронили Тёму двадцатого марта, на Южном кладбище.

Был серый мокрый день. Снег шёл и таял, не долетая до земли. Над кладбищем висело низкое белое небо, и в нём кружили вороны — много, чёрные, громкие.

Народу пришло больше, чем Дан ожидал. Мамины коллеги из поликлиники. Соседи по подъезду. Тёмины одногруппники из колледжа — человек двадцать, растерянные, в чёрных

куртках, с цветами в руках, которые держали как-то неправильно, вверх головками, будто не знали, что с ними делать. Гоша с женой Леной — Гоша в первый раз в жизни был в костюме, и костюм был ему мал в плечах. Ребята из мастерской, клиенты, которые знали Тёму. Пара человек, которых Дан не узнал.

Он стоял у края могилы и смотрел в яму. Мокрая рыжая глина. Доски. Гроб на ремнях.

Он не плакал. Не мог. Внутри всё было сухим, как пустыня. Он смотрел на гроб, на мамину спину впереди, на её плечи в чёрном пальто, на руку Гоши у неё на локте, — и ничего не чувствовал. Только холод. И ещё — злость, глухую, тяжёлую, которая сидела где-то под рёбрами с того утра в морге и не уходила.

Он знал, что под белой рубашкой, под пиджаком, под всем этим — шов. Длинный. Через всю грудь.

Он не смотрел на Тёмино лицо, когда прощались. Он смотрел на его руки. Сложенные на груди. Без кольца — кольцо с черепом мама сняла и отдала ему, он носил его теперь на шнурке на шее. Без ссадин на костяшках — кто-то замазал их чем-то телесного цвета. Чужие, восковые руки.

Батюшка что-то читал. Тёмины одногруппницы плакали. Одна из них, маленькая, тоненькая, в жёлтом шарфе — единственное яркое пятно на всём этом чёрно-сером кладбище, — стояла чуть поодаль от остальных и плакала так, что её трясло. Другая девочка держала её за плечи.

Дан посмотрел на неё мельком и отвёл глаза.

А потом увидел его.

Он стоял далеко, у старых берёз, за оградой чужой могилы. В сером пальто, без шапки, с непокрытой головой. Высокий, сутулый, седой — когда он успел так поседеть? Он не подходил. Стоял и смотрел. Руки висели вдоль тела.

Дан узнал его сразу. Через девять лет. Через сорок метров. Через снег.

Отец.

Внутри что-то дёрнулось — остро, коротко, как дёргается рыба на крючке. Дан смотрел на него, и отец, кажется, почувствовал взгляд, потому что поднял голову. Секунду они смотрели друг на друга — через кладбище, через ограды, через вороньи крики.

Дан отвернулся.

Он стоял спиной к берёзам всю оставшуюся церемонию. Смотрел, как опускают гроб. Как мама бросает горсть глины. Как глина стучит по крышке. Он тоже бросил. Глина была холодной и липкой, она осталась у него на пальцах, и он не стал её вытирать.

Когда он обернулся снова, у берёз уже никого не было.

Мама стояла рядом. Она тоже смотрела на берёзы. Потом посмотрела на Дана. Ничего не сказала. Он тоже.

* * *

Поминки были в кафе у метро «Звёздная». Дан просидел там час и ушёл. Мама осталась с коллегами. Гоша вышел за ним на крыльцо, постоял рядом, ничего не говоря, потом положил ему руку на плечо и сказал:

— Мастерская подождёт. Сколько надо.

— Завтра приду.

— Дан.

— Завтра приду, Гош. Я не могу дома.

Гоша посмотрел на него долго. Потом кивнул и вернулся внутрь.

Дан не поехал домой. Поехал в мастерскую. Включил свет. Насыпал Поршню корма. Кот опять не стал есть — сидел у двери и смотрел на неё.

Дан сел за верстак. Достал телефон. Открыл чат с Тёмой. Синяя точка. Одна минута двенадцать секунд.

Палец на кнопке. Не нажал.

Закрыл чат. Открыл свою страницу в соцсети. Он почти никогда туда ничего не писал — только выкладывал фотографии мотоциклов из мастерской. Восемьсот подписчиков, в основном клиенты и байкеры.

Он долго смотрел на пустое поле. Курсор мигал. Потом он начал писать. Быстро, зло, не перечитывая.

«Моему брату было девятнадцать лет. Его звали Тёма. Артём Яворский.

Четырнадцатого марта он разбился на мотоцикле на Благовещенском мосту. Двое суток лежал в реанимации больницы на Литейном. Шестнадцатого вечером врачи констатировали смерть мозга.

Той же ночью у него забрали сердце, почки и печень. Для пересадки.

Мы с мамой всё это время сидели за стенкой. Нас никто не спросил. Нам никто ничего не сказал. Я узнал об этом вчера, в морге, из строчки мелким шрифтом в заключении экспертизы.

Мне объяснили, что всё законно. Что в России презумпция согласия. Что больница не обязана спрашивать семью. Что, если бы мы хотели возразить, мы должны были сделать это заранее. Заранее. До того, как узнали, что он умрёт.

Мне сказали, что они не спросили, потому что „в таком состоянии люди почти всегда говорят «нет»“.

Да. Говорят. Потому что это наш брат. Наш сын. Не набор запчастей.

Я не знаю, что с этим делать. Я просто хочу, чтобы вы знали.

Где-то сейчас ходит человек с сердцем моего брата. Надеюсь, ему не стыдно».

Он нажал «опубликовать». Не перечитал. Выключил телефон и бросил его на верстак.

Поршень подошёл и сел у его ног. Посмотрел на дверь. Потом на Дана. Потом снова на дверь.

— Не придёт, — сказал Дан коту. — Ну что ты. Не придёт он.

Кот тихо мяукнул.

Дан опустил голову на руки, на холодный металл верстака, пропахший маслом и Тёмой. И впервые за шесть дней — впервые с той ночи — заплакал.

Беззвучно. Долго. Так, что потом болело горло и щипало глаза.

Поршень сидел рядом и смотрел на дверь.

Глава 5

Мира

Пульс: 104

Лестница в отделении была самой обычной. Серые бетонные ступени, железные перила, выкрашенные голубой масляной краской, стена в два цвета — снизу тёмно-зелёная, сверху белая. На площадке между этажами — окно с широким подоконником, на котором кто-то оставил пустой пластиковый стаканчик и журнал кроссвордов.

Пятнадцать ступеней от нашего этажа до площадки. Ещё пятнадцать — до следующего этажа.

Я стояла внизу, держась за перила, и смотрела вверх.

— Ну, — сказала Римма. — Чего стоим? Кого ждём?

— Себя, — сказала я.

— Себя потом дождёшься. Пошли.

Был конец марта. Двенадцатый день после операции. Шов на груди почти не болел, если не делать резких движений, — только тянул, когда я глубоко вдыхала или смеялась. Я уже ходила по коридору сама, без поддержки: от бокса до поста, от поста до окна в конце коридора, от окна обратно. Сначала три раза в день, потом пять, потом десять. Римма говорила, что я лучшая её ученица за этот год. Я подозревала, что она говорит это всем.

Но лестница — это было другое.

Восемь лет я боялась лестниц. Я ненавидела их так, как другие ненавидят пауков или высоту. Ступенька за ступенькой, вдох за вдохом, и с каждым шагом мокрое пальто на груди становилось тяжелее, и где-то на середине пролёта сердце начинало спотыкаться, и в глазах темнело, и я садилась прямо на ступени и ждала, пока мир перестанет кружиться.

Я поставила ногу на первую ступень.

Сердце стучало. Ровно. Сто четыре.

Вторая ступень. Третья.

Я ждала, что сейчас начнётся. Тяжесть. Нехватка воздуха. Чёрные мушки перед глазами. Я ждала этого, как ждут удара, — втянув голову, напрягшись всем телом.

Пятая. Шестая. Седьмая.

Ничего не начиналось.

Я дышала. Глубоко, ровно, свободно. Ноги были слабыми — мышцы за восемь лет почти атрофировались, — колени дрожали, и я крепко держалась за перила. Но воздух — воздух был. Его было сколько угодно. Я вдыхала, и он входил в меня до самого дна, и выходил, и снова входил.

Десятая. Одиннадцатая.

Я остановилась. Не потому, что задохнулась. Потому что вдруг поняла, что не задыхаюсь.

— Ты чего? — спросила Римма снизу. — Плохо?

— Нет, — сказала я. — Хорошо.

Я стояла на одиннадцатой ступеньке и смотрела на свою руку на голубых перилах. Худая, бледная рука, с синяком от капельницы на тыльной стороне ладони. Она держалась за перила, а мне казалось — нет, не за перила.

Мне казалось, что кто-то идёт рядом. На ступеньку выше. И держит меня за руку.

Это было так отчётливо, что я обернулась. Никого. Римма внизу, в двух ступенях, с руками наготове — подхватить, если упаду. Пустая лестница. Пыльное окно на площадке.

Я снова посмотрела на свою руку. Сердце стучало — сто шесть, сто восемь, — тихо, уверенно, где-то под швом.

Я поднялась до площадки. Пятнадцать ступеней. Не останавливаясь больше ни разу.

Села на подоконник, рядом с журналом кроссвордов. И разревелась. В голос. Как маленькая.

Римма поднялась, села рядом и молча протянула мне бумажный платок.

Через пять минут сердце догнало меня и тоже заколотилось.

* * *

В начале апреля мне сделали третью биопсию.

Это была самая неприятная процедура из всех. Через вену на шее — под местным наркозом, но всё равно — в сердце заводили тонкий катетер со щипчиками на конце и откусывали несколько крошечных кусочков ткани. Каждый размером с рисовое зерно. Потом эти кусочки смотрели под микроскопом: не начало ли моё тело воевать с чужим сердцем.

Я лежала на столе под рентгеновским аппаратом и смотрела на экран, где в сером тумане двигался тёмный силуэт. Моё сердце. Его сердце. Наше. Оно билось на экране — сжималось и разжималось, сжималось и разжималось, — и катетер подбирался к нему, как маленький червяк.

Мне было страшно, что ему больно. Глупо. Шор сказал, что в сердце нет нервов, которые чувствуют боль от щипчиков. Но мне всё равно было страшно.

— Потерпи, — сказала я ему мысленно. — Немножко. Это чтобы тебе было хорошо.

Оно не ответило. Оно стучало.

Результат пришёл через день. Отторжения нет. Шор зашёл ко мне в бокс сказать это лично — постоял в дверях, помахал листком.

— Нулевая степень, — сказал он. — Тихо, как в библиотеке. Оно тебя принимает, Лаврова.

— Или я его.

— Это одно и то же. — Он сунул листок в карман. — Ещё недельку — и домой.

Домой.

Я легла и смотрела в потолок. Домой. На третий этаж. По лестнице.

Мне стало так радостно, что я испугалась. Я давно уже не была так радостна — и не знала, что с этим делать. Радость была огромная, неуклюжая, она не помещалась внутри, распирала рёбра, давила на шов.

Сердце узнало о ней через пять минут и застучало так, что на мониторе запищал сигнал.

* * *

Сашкины записки становились короче.

Сначала они были на целый тетрадный лист, исписанный с двух сторон, с рисунками на полях: сердечки с моторами, шаверма с ножками, Шор в виде огромного леденца в очках. Потом — на полстраницы. Потом — несколько строчек. Почерк становился всё более неровным, буквы разъезжались, как будто ей трудно было держать маркер.

«Лаврова. Как биопсия? Мне тоже делали, но давно, ещё до листа. Противно, да? Как будто в тебе рыбу ловят. Держись. С.»

«Мне поменяли капельницу. Теперь другая, сильнее. Голова от неё кружится. Новую соседку так и не подселили. Скучно. С.»

«Ты дошла до площадки?! Ну ты даёшь. Я горжусь. Сфоткай мне лестницу, я хочу посмотреть. С.»

Я сфотографировала. Пятнадцать ступеней, голубые перила, окно на площадке. Галя отнесла распечатку.

Ответ пришёл через два дня. Одна строчка:

«Красивая. С.»

Я долго смотрела на эту строчку. Потом спросила у Гали:

— Как она?

Галя отвела глаза. Поправила на мне одеяло, хотя оно лежало ровно.

— Её перевели в реанимацию, — сказала она. — Вчера.

* * *

Мы поговорили один раз. Последний.

Четвёртого апреля, вечером, Галя пришла ко мне в бокс со своим телефоном.

— Сашина мама просила, — сказала она. — Саша хочет тебя видеть. Только недолго.

Она набрала номер, подождала, протянула мне телефон.

На экране появилась Сашка.

Она лежала в реанимации — я узнала эти лампы, эти мониторы, эту белую стену. Лицо у неё было совсем маленьким, почти прозрачным, с синими губами. В носу — тонкая трубочка с кислородом. Волосы, которые она всегда собирала в небрежный пучок на макушке, лежали на подушке тусклыми прядями. Серые глаза казались ещё больше, чем раньше. Они были почти на всё лицо.

— Привет, Лаврова, — сказала она. Голос был слабый, сиплый. Она улыбнулась. — Ты чего такая розовая? Тебе идёт.

— Привет, — сказала я.

Больше я ничего не могла сказать. Горло сжалось.

— Ну вот, — сказала Сашка. — Опять ревёшь. Я же просила.

— Я не реву.

— Ревёшь. Я вижу. — Она перевела дыхание. Ей было трудно говорить. — Слушай. Мне сказали, тебя скоро выпускают.

— Через неделю.

— Хорошо. — Она закрыла глаза на секунду. Открыла. — Слушай меня. Внимательно. Это важно.

— Слушаю.

— Шаверма. На Сенной. Двойная. С картошкой. Ты обещала.

— Только с тобой.

— Лаврова. — Она посмотрела на меня. И я поняла, что она всё знает. Всё. Про себя, про своё сердце, про то, что моё пришло, а её — нет. — Не будь дурой. Ешь за меня.

Я не могла ответить. Кивнула.

— И под дождём. И танцевать. — Она снова перевела дыхание, медленно, с присвистом. — И это. Последнее. Которое ты забыла.

— Влюбиться, — сказала я.

— Влюбиться. — Сашка улыбнулась. Синими губами. — Это приказ. Ты зануда, ты приказы выполняешь. Вот и выполни. За меня тоже. Я не успела.

— Саш…

— Всё. — Она закрыла глаза. — Устала. Иди. Считай там за двоих.

Экран погас. Кто-то на том конце — наверное, её мама — нажал отбой.

Я сидела на кровати с Галиным телефоном в руках и смотрела на чёрный экран. В нём отражалось моё лицо. Розовое. Живое.

Сердце стучало. Ровно. Сто два.

Оно не знало. Оно ещё ничего не знало.

* * *

Сашка умерла в ночь на пятое апреля. В три сорок утра.

Мне сказала Галя. Утром, в восемь, когда принесла таблетки. Она вошла в бокс и остановилась у двери, держа в руках пластиковый стаканчик. И я поняла всё по её лицу ещё до того, как она открыла рот.

— Мирочка, — сказала Галя.

— Не надо, — сказала я.

Она не стала. Подошла, поставила стаканчик на тумбочку. Села на край кровати. Взяла меня за руку.

Мы сидели так долго. Галя держала мою руку в своих полных тёплых ладонях и молчала. А я смотрела в окно — в маленький прозрачный кусок наверху, где было небо, серое, апрельское, с рыжими пятнами рассвета на облаках.

Я не плакала. Я думала, что заплачу, — я столько ревела все эти дни, по любому поводу, от радости, от боли, от лестницы. А сейчас — ничего. Внутри было пусто и очень тихо. Как в доме, где только что вынесли всю мебель.

— Таблетки, — сказала Галя наконец. — Девять часов. Надо.

Я взяла стаканчик. Высыпала таблетки на ладонь. Белые, жёлтые, розовые. Положила в рот. Запила водой. Проглотила.

Девять ноль-ноль. Минута в минуту.

Чтобы чужое сердце не отторглось. Чтобы оно жило во мне. Ещё один день.

Сашкино сердце не пришло. Сашкино сердце остановилось в три сорок утра, в реанимации, в соседнем корпусе, в ста метрах от меня. А это — чужое, молодое, сильное — стучало у меня в груди. Ровно. Спокойно. Сто два.

Минут через пять оно вдруг сбилось с ритма, застучало часто, торопливо, и на мониторе поползли цифры вверх.

И тогда я заплакала.

* * *

Шор пришёл вечером. Сел на стул у кровати, как в первый раз. Долго молчал, катал во рту леденец.

— Почему мне? — спросила я.

Он не стал притворяться, что не понимает.

— Почему не ей? — сказала я. — Ей шестнадцать. Ей было хуже. Она дольше ждала. Она была… она лучше меня. Она смешнее. Сильнее. Она бы… Почему это сердце пришло мне? Почему не ей?

Шор вздохнул. Снял очки, потёр переносицу.

— Потому что оно не могло прийти ей, — сказал он. — Никак. Ни при каких обстоятельствах.

— Почему?

— У Саши была третья группа крови. У тебя — вторая. У донора — вторая. Это раз. — Он загнул палец. — Саша весила тридцать восемь килограммов. Ей нужно было маленькое сердце. Детское или от очень миниатюрной женщины. Это сердце было бы ей велико. Почти в два раза. Оно бы просто не поместилось. — Он загнул второй палец. — Это не лотерея, Мира. Это не очередь в поликлинику, где кто первый пришёл, тот и получил. Сердце ищет человека. Конкретного. С подходящей группой, с подходящим размером, с подходящими антителами. Это сердце искало тебя. Не Сашу. Тебя.

Я молчала.

— Ей нужно было своё, — сказал Шор тише. — Оно не пришло. Так бывает. Чаще, чем ты думаешь. Многие из тех, кто ждёт, не дожидаются. Я… — Он замолчал. Надел очки обратно. — Я их всех помню, Лаврова. Каждого. Сашу тоже буду помнить.

Он встал. Постоял у кровати.

— Ты ни в чём не виновата, — сказал он. — Ты это знаешь?

— Знаю, — сказала я. — Головой.

— Головой — это уже много. Остальное догонит. — Он чуть улыбнулся. — У тебя же всё теперь так. Сначала голова, потом остальное.

* * *

На следующий день пришла Сашина мама.

Её пустили ко мне на пять минут — в маске, в халате, в бахилах. Она стояла у стеклянной двери бокса, не решаясь войти. Маленькая, как Сашка, с такими же огромными серыми глазами. Только в её глазах ничего не было. Совсем ничего. Пустые серые окна.

— Вы Мира? — спросила она.

— Да.

— Саша просила передать вам.

Она протянула мне что-то. Я взяла.

Чёрный маркер. Тот самый. Колпачок погрызен — Сашка всегда грызла колпачки, когда думала. На боку — наклейка с черепом и надпись её почерком: «САШКИН. НЕ ТРОЖЬ».

— Она сказала, — Сашина мама сглотнула, — она сказала: отдай Лавровой. Ей нужнее. Пусть вычёркивает.

— Что вычёркивает?

— Не знаю. — Она покачала головой. — Она сказала, вы поймёте.

Я поняла.

Сашина мама постояла ещё немного. Посмотрела на меня. На мою грудь, где под больничной рубашкой был шов. Я видела, как она смотрит, и не знала, что делать — закрыться руками? Отвернуться? Извиниться?

— Она вас очень любила, — сказала Сашина мама. — Говорила, вы зануда. Это у неё было… это высшая похвала была.

И ушла.

Я долго сидела с маркером в руках. Потом попросила у Гали лист бумаги. Положила его на тумбочку. Сняла с маркера погрызенный колпачок.

И написала — большими кривыми буквами, Сашкиными чёрными чернилами:

«ПЕРВЫМ ДЕЛОМ.

1. Подняться по лестнице, не останавливаясь.

2. Шаверма на Сенной. Двойная. За двоих.

3. Пробежать под дождём.

4. Танцевать там, где громко.

5. Влюбиться. (Приказ.)»

Я посмотрела на первый пункт. Пятнадцать ступеней до площадки. Не останавливаясь.

И вычеркнула его. Одной толстой чёрной линией.

* * *

Через два дня ко мне зашла женщина, которую я раньше не видела. Лет сорока пяти, в строгом сером костюме под халатом, с короткой стрижкой и внимательным, немного усталым лицом. На бейджике было написано: «Елена Павловна. Координатор».

— Илья Маркович сказал, что вы хотели бы написать письмо, — сказала она.

Я ничего такого не говорила Шору. Но я поняла, что он понял.

— Кому? — спросила я.

— Семье донора. — Она села на стул. — Это не обязательно. Многие не пишут. Это ваше право, а не долг. Но если захотите — я его сохраню.

— Вы его передадите?

— Не сразу. И не обязательно. — Она говорила медленно, тщательно подбирая слова. — Имя донора — врачебная тайна. Ваше имя — тоже. Я не могу просто отправить письмо по адресу. Но если семья когда-нибудь обратится к нам и спросит — я смогу его отдать. Без вашего имени, без адреса. Только текст.

— А они обращаются?

— Редко. — Она помолчала. — Обычно не хотят знать. Или не знают, что могут. Иногда — через год, через пять. Бывает, что никогда. — Она посмотрела на меня. — Я храню у себя такие письма уже девять лет. Их больше двухсот. Передать удалось восемнадцать.

— Восемнадцать из двухсот.

— Восемнадцать. — Она кивнула. — Но для этих восемнадцати это было очень важно.

Я подумала о Сашиной маме. О её пустых серых окнах.

— Я напишу, — сказала я.

* * *

Я писала всю ночь. На тетрадных листах, обычной ручкой — не Сашкиным маркером, им я писать это не могла. Зачёркивала. Переписывала. Рвала. Начинала снова.

Как написать людям, у которых умер кто-то самый родной, — о том, что ты живёшь? Как сказать «спасибо», чтобы это не прозвучало как «спасибо, что он умер»? Как объяснить, что каждый удар у тебя в груди — это их потеря?

Я не знала. Никто не знал. Елена Павловна сказала: «Пишите как есть. Не надо красиво. Надо честно».

Под утро у меня получилось вот что:

«Здравствуйте.

Я не знаю, как вас зовут. Я не знаю, как звали его. Я не знаю, кто он был вам — сын, брат, муж, отец. Я знаю только, что он был молодой, что у него было сильное сердце и что теперь это сердце бьётся у меня в груди.

Мне двадцать один год. Восемь лет я болела. Последний год я почти не вставала. Я не могла подняться по лестнице на свой третий этаж, не могла дойти до магазина, не могла смеяться в полную силу, потому что задыхалась. Я жила, глядя на мир через окно.

Теперь я дышу.

Я не знаю, как сказать вам спасибо. Я понимаю, что для вас это не подарок. Для вас это самый страшный день в жизни. Я понимаю, что вы отдали бы всё, чтобы он был жив, а я была бы там, где была. И я бы вас поняла.

Я просто хочу, чтобы вы знали: он не исчез. Не весь. Его сердце живёт. Оно очень сильное и очень торопливое, как будто всё время куда-то спешит. Оно стучит быстрее, чем обычное, и всё узнаёт последним — мне так врач объяснил. Я сначала плачу, а оно через пять минут.

Недавно я впервые за восемь лет поднялась по лестнице, не останавливаясь. Пятнадцать ступеней. И вот что странно. Теперь, когда я поднимаюсь по лестнице и не задыхаюсь, мне кажется, что рядом кто-то идёт и держит меня за руку.

Я не знаю, что это. Может быть, мне просто кажется.

А может быть, это он.

Я обещаю беречь его. Каждый день. Пить таблетки минута в минуту. Не делать глупостей. Жить так, чтобы ему не было за меня стыдно.

Простите меня, если можете.

Спасибо.

М.»

Утром я отдала листок Елене Павловне. Она прочитала его, стоя у окна. Долго. Потом аккуратно сложила вчетверо и убрала в синий конверт без надписи.

— Я сохраню, — сказала она.

— А если они никогда не спросят?

— Тогда оно будет лежать у меня. — Она убрала конверт в папку. — Но оно будет. Это тоже важно, Мира. Что оно есть.

Она ушла. Я легла и закрыла глаза.

Сердце стучало. Ровно. Сто четыре.

Я положила на него ладонь. На шов, на повязку, на ребро.

Мне казалось, что я что-то отдала. Небольшое. Тетрадный лист. Но — что-то.

На тумбочке лежал Сашкин маркер. С погрызенным колпачком. Рядом — лист с моим списком. Одна строчка вычеркнута. Четыре — нет.

Я смотрела на этот лист, пока не уснула.

Глава 6

Мира

Пульс: 96

Наш дом на Третьей линии Васильевского острова был старым, жёлтым, с облупленной лепниной над окнами и тяжёлой парадной дверью, которая закрывалась с таким грохотом, что в подъезде дрожали стёкла. Дому было сто сорок лет. Мне иногда казалось, что он тоже болен — тоже чем-то хроническим, неизлечимым, — и что мы с ним понимаем друг друга.

Девятого апреля папа остановил машину у этой двери. Заглушил двигатель. Посмотрел на меня в зеркало заднего вида.

— Приехали, — сказал он.

Мама сидела рядом со мной на заднем сиденье и держала меня за руку. Всю дорогу из больницы она держала меня за руку, и всю дорогу говорила — про то, что купила новые простыни, что вымыла в моей комнате окна, что убрала из квартиры все цветы, потому что от земли могут быть грибки, что выбросила половину продуктов из холодильника и составила новое меню по списку от диетолога. Она говорила, не останавливаясь, сорок минут. Я слушала и кивала.

Теперь она замолчала. Мы все трое молчали и смотрели на дверь подъезда.

— Мирочка, — сказала мама осторожно. — Может, папа тебя на руках занесёт? Третий этаж всё-таки. Тебе ещё рано, наверное…

— Нет, — сказала я.

— Но…

— Мам. Нет.

Папа посмотрел на маму в зеркало. Потом на меня. Потом вышел из машины и открыл мне дверь.

* * *

Лестница была та же.

Широкие каменные ступени, стёртые посередине до впадин — сто сорок лет люди поднимались и спускались по ним. Чугунные перила с завитушками, выкрашенные зелёной краской поверх коричневой, поверх чёрной, поверх бог знает какой ещё. Окна на площадках, с широкими подоконниками, на которых соседка с четвёртого этажа держала свои герани. Запах — сырой камень, кошки, чья-то жареная картошка.

Я стояла внизу и смотрела вверх. Три пролёта. Шестьдесят две ступени. Я знала их наизусть. Восемь лет я считала их. Восемь лет каждая из них была для меня маленькой горой.

Мама стояла рядом, готовая подхватить. Папа — сзади, с сумками.

Я положила руку на перила.

Первая ступень. Вторая. Третья.

Я не торопилась. Ноги ещё были слабыми, и Римма говорила: медленно, Лаврова, ты не на соревнованиях. Я поднималась медленно. Ступень за ступенью. Дышала глубоко и ровно.

Первая площадка. Герани на подоконнике. Я не остановилась.

Вторая площадка. Соседкин кот, серый, толстый, сидел на коврике у двери и смотрел на меня жёлтыми глазами. Он знал меня. Он восемь лет видел, как я сижу на этих ступенях, держась за грудь. Сейчас он смотрел удивлённо.

Я не остановилась.

Третья площадка. Наша дверь. Коричневая, обитая дерматином, с латунной табличкой «Лавровы» и звонком, который заедал.

Я стояла перед ней и дышала. Глубоко. Свободно. Сердце стучало — сто двенадцать, сто четырнадцать, — от подъёма, от усилия, но ровно, сильно, без единого сбоя.

Я обернулась.

Мама стояла на последней ступени. Она не помогла мне ни разу — я видела, как она держала руки, готовая подхватить, и как ей хотелось, и как она себя останавливала. Сейчас она стояла и смотрела на меня, и по её лицу текли слёзы, и она даже не пыталась их вытереть.

Папа стоял за ней с сумками. Он смотрел на меня, и лицо у него было странное. Как будто он сейчас тоже заплачет — папа, который не плакал никогда. Он не заплакал. Он поставил сумки на ступени, подошёл ко мне и обнял. Крепко, осторожно, обходя шов.

— Ну, — сказал он мне в макушку. — Новый мотор.

Он повторил это второй раз за месяц. Я засмеялась ему в куртку.

Минут через пять, когда мы уже были в квартире и мама суетилась на кухне, сердце вдруг застучало так, что мне пришлось сесть.

Я сидела в прихожей на табуретке, в куртке, в ботинках, держась за грудь. Мама выскочила из кухни белая как мел.

— Мира! Что?! Скорую?!

— Нет, мам, — сказала я. — Всё хорошо. Это оно просто только сейчас поняло, что мы дома.

* * *

Первые недели дома были странными.

Я не знала, что делать с собой. Восемь лет моя жизнь была подчинена одному — экономии сил. Я рассчитывала каждый шаг, каждое движение, каждый вдох. Сходить на кухню — это одна единица. Принять душ — три. Выйти на улицу — десять. У меня было, скажем, двадцать единиц в день, и я тратила их, как скупой рыцарь, по одной.

Теперь единиц было сколько угодно. А тратить их было некуда.

Мне нельзя было почти ничего. Нельзя в толпу — только в маске. Нельзя в кино, в кафе, в метро в час пик. Нельзя есть ничего, что продают на улице, никаких суши, никаких салатов из кулинарии, никаких мягких сыров. Нельзя поднимать тяжести — пока не срастётся грудина. Нельзя к животным. Нельзя к людям с насморком. Нельзя загорать. Нельзя пропускать таблетки — в девять утра и в девять вечера, минута в минуту, у меня на телефоне стояли два будильника с одинаковой мелодией.

Сашкину шаверму мне можно будет не раньше осени. Шор так и сказал: «Шаверма, Лаврова, — это, с точки зрения иммунолога, биологическое оружие. Через полгода поговорим».

Я перенесла её в списке на осень. Подписала маркером на полях: «Шор запретил. Подожди, Саш».

Мама взяла на работе отпуск — сначала на две недели, потом хотела ещё на месяц. Она ходила за мной по квартире, как тень. Мерила мне температуру трижды в день. Протирала дверные ручки антисептиком. Проверяла, выпила ли я таблетки, хотя будильник звонил так, что слышали соседи. Ночью я несколько раз просыпалась от того, что она стоит в дверях моей комнаты и смотрит, дышу ли я.

— Мам, — сказала я ей через десять дней. — Иди на работу.

— Мирочка, я не могу тебя…

— Можешь. Пожалуйста. У тебя ученики. У тебя Шопен с этим мальчиком, как его, Лёней. Ты говорила, у него конкурс в мае.

— Лёня подождёт.

— Лёня не подождёт. Ему двенадцать, у него конкурс. — Я взяла её за руки. — Мам. Ты восемь лет ждала, пока я поправлюсь. Я поправилась. Теперь живи. Пожалуйста. Мне так будет легче.

Она долго смотрела на меня. Потом кивнула. И заплакала. Мама теперь всё время плакала. Будто восемь лет копила, а теперь кран сорвало.

Через неделю она вышла на работу.

* * *

Кира пришла в субботу. С пакетом мандаринов, которые ей не разрешили отдать мне, с букетом тюльпанов, которые не разрешили занести в квартиру, и в медицинской маске, которую мама заставила её надеть прямо на пороге.

— Это у вас что, карантин? — спросила Кира, разглядывая маску в зеркале прихожей. — Я похожа на хирурга.

— На очень красивого хирурга, — сказала я.

— Ну хоть так.

Мы сидели в моей комнате. Я — на кровати, Кира — в кресле у окна, поджав под себя ноги в полосатых носках. Как в школе. Мы дружили с первого класса. Когда я заболела, Кира приходила ко мне каждый день — сначала каждый, потом через день, потом раз в неделю. Потом раз в месяц. Я не обижалась. Она поступила на экономический, у неё появились новые друзья, парни, вечеринки, поездки. Жизнь. А у меня жизни не было. Я была как старая детская игрушка на полке: любимая, но с ней уже не играют.

Кира рассказывала. Про универ, про сессию, про преподавателя по эконометрике, который ставил всем тройки из принципа. Про своего парня Стаса, с которым они то сходились, то расходились, и сейчас как раз расходились. Про поездку в Казань на майские. Она говорила быстро, весело, размахивая руками, и я слушала и улыбалась.

И чувствовала себя очень старой.

Ей был двадцать один год. Мне был двадцать один год. Но она была на двадцать один, а я — на сорок. Или на сто сорок, как наш дом.

— А ты как? — спросила Кира наконец. — Ну, вообще. С этим всем.

— Нормально.

— Мира.

— Нет, правда нормально. — Я пожала плечами. — Дышу. Хожу. По лестнице поднимаюсь. Таблетки пью.

— А… — Кира замялась. — А как это? Ну. С чужим.

Я посмотрела на неё.

— Странно, — сказала я честно. — Оно не моё. Оно стучит по-другому. Быстрее. Оно не чувствует того, что чувствую я. Вернее, чувствует, но с опозданием.

— В смысле?

— Ну вот ты сейчас пришла. Я обрадовалась. Очень. — Я посмотрела на браслет. — А оно — нет. Девяносто шесть, как было, так и есть. Подожди минут пять — обрадуется.

Кира смотрела на меня с открытым ртом.

— Это жутко, — сказала она.

— Немного.

— Нет, это реально жутко. Как будто в тебе кто-то живёт.

Я промолчала.

Кира смутилась. Покраснела над маской.

— Прости. Я дура. Я не так хотела.

— Ничего.

— Нет, правда. — Она слезла с кресла, подошла и села рядом со мной на кровать. Обняла меня за плечи, осторожно, как мама. — Я просто очень рада, что ты есть. Ты понимаешь? Я так боялась. Все эти месяцы. Я боялась, что однажды мне позвонит твоя мама и скажет… — Она не договорила. — Я трусиха, Мир. Я поэтому так редко приходила. Мне было страшно на тебя смотреть.

Я не знала. Я восемь лет думала, что ей скучно. А ей было страшно.

— Я больше не буду такой, — сказала Кира. — Слышишь? Я теперь буду приходить. Часто. Таскать тебя везде. Как только твой этот, Шор, разрешит.

Минут через пять сердце застучало часто и громко. Кира почувствовала это — она сидела совсем близко, прижавшись ко мне плечом.

— Ой, — сказала она. — Это оно?

— Это оно. Обрадовалось.

Кира засмеялась. Потом перестала смеяться и посмотрела на меня очень серьёзно.

— Мир, — сказала она. — А ты знаешь, чьё оно?

* * *

Я не знала.

Но я знала дату. Ночь с шестнадцатого на семнадцатое марта. Шор позвонил маме около часа. Сердце привезли в начале пятого. Значит, тот человек умер шестнадцатого. Где-то здесь, в городе, — Шор говорил, что сердце может жить без кровотока всего четыре-шесть часов, и его не возят далеко.

Я знала, что он был молодой. Что у него была вторая группа крови, как у меня. Что у него было сильное сердце. Больше я не знала ничего.

Шор сказал: «Не ищи».

Я не искала. Неделю. Две.

Потом начала.

Ночью. Когда родители спали, а я — нет. Я теперь вообще плохо спала. Сердце стучало слишком громко, слишком быстро, и я лежала и слушала его, и в голову лезло всякое.

Я лежала в темноте с телефоном под одеялом, как в детстве, когда читала с фонариком. И набирала в поисковике слова.

«16 марта Петербург смерть».

«ДТП 16 марта Петербург».

«Молодой человек погиб 16 марта».

Выпадало разное. Пожар в Колпино. Утонувший рыбак на Финском заливе. Драка у ночного клуба на Думской. Старушка, сбитая на переходе на Гражданке. Я читала всё. Каждую новость. Каждую заметку. Каждый комментарий.

Ни одна не подходила. Или подходили все. Я не знала, что ищу.

Потом, однажды ночью, я набрала: «ДТП 14 марта».

Потому что подумала: может, умер не в тот же день. Может, он лежал в больнице. Может…

Новость была короткой, на городском портале, пять строчек:

«В ночь на 15 марта на Благовещенском мосту произошло ДТП с участием мотоциклиста. 19-летний водитель мотоцикла не справился с управлением на мокром покрытии и упал. С тяжёлой черепно-мозговой травмой он доставлен в больницу. Других участников ДТП нет».

Девятнадцать лет.

Я лежала и смотрела на эти пять строчек. Сердце стучало ровно. Девяносто шесть.

Это мог быть кто угодно. В Петербурге каждый день кто-то разбивается. Девятнадцать лет — это ничего не значит. Мотоциклист — это ничего не значит. Может, он выжил. Может, он сейчас дома, с гипсом на ноге, смотрит сериалы.

Я закрыла новость. Положила телефон на тумбочку. Легла на спину и смотрела в потолок, по которому скользили отсветы из окон напротив.

Минут через пять сердце застучало так, что я села на кровати.

* * *

Двадцать четвёртое апреля было пятницей. Я запомнила это, потому что по пятницам мама задерживалась в музыкальной школе до восьми, а папа приходил с работы в семь, и после обеда у меня было несколько часов, когда я была дома совсем одна.

Я сидела на подоконнике в своей комнате, поджав ноги, и смотрела во двор. Наш двор был колодцем — квадратным, глубоким, с жёлтыми стенами и единственным деревом посередине,

старым тополем, который каждую весну грозились спилить и каждый год не спиливали. Тополь только начинал зеленеть. На ветках сидели воробьи.

Я сфотографировала двор. Триста сорок вторая фотография. Выложила.

Через минуту — сердечко от «nevskaya_rybka». Как всегда.

Я начала листать ленту. Без цели, просто так. Котики. Чьи-то завтраки. Реклама курсов английского. Новость про ремонт моста. Пост какой-то девушки про то, что её бросил парень. Ещё котики.

И вдруг — пост, который перепостил к себе кто-то из тех, на кого я была подписана.

Чёрная картинка. На ней белым — фотография. Парень на мотоцикле, без шлема, смеётся в камеру, щурясь от солнца. Светлые волосы торчат во все стороны. Длинные ресницы. Кольцо на пальце, держащем руль. Красно-чёрный бак с белой молнией.

Под фотографией текст.

«Сорок дней.

Сорок дней назад умер мой брат. Тёма. Артём Яворский. Ему было девятнадцать.

Четырнадцатого марта он разбился на Благовещенском мосту. Шестнадцатого у него констатировали смерть мозга. В ту же ночь у него забрали сердце, почки и печень. Нас не спросили. Нам не сказали. Я узнал об этом в морге.

С тех пор я написал жалобы в Минздрав, в прокуратуру, в городской комитет по здравоохранению. Мне везде ответили одно и то же: всё законно.

Может быть. Но я не про закон.

Я про то, что сегодня у моего брата сорок дней, а я даже не знаю, кто живёт с его сердцем. Где он. Как он. Благодарен ли. Знает ли он вообще, кем был Тёма. Что он пел ужасно и громко. Что он подбирал котят из луж. Что он боялся высоты и всё равно лез на крыши.

Где-то ходит человек с сердцем моего брата.

Пусть знает.

Даниил Яворский».

Под постом — тысячи комментариев. Тысячи репостов. Люди спорили, ругались, плакали, присылали сердечки, присылали свечки, писали «держитесь», писали «закон есть закон», писали «а если бы вам нужно было сердце?», писали «бессердечные твари», писали «спасибо донору». Писали, что найдут этого реципиента и плюнут ему в лицо. Писали, что реципиент ни в чём не виноват.

Я читала всё это и не дышала.

Шестнадцатое марта. Сердце. Девятнадцать лет. Благовещенский мост.

Ночь с шестнадцатого на семнадцатое. Сердце. Молодой. Сильный.

Я опустила телефон на колени. Посмотрела на браслет.

Девяносто шесть. Девяносто шесть. Девяносто пять.

Оно не знало. Оно ещё ничего не знало.

Я положила руку себе на грудь. Под футболкой, под тонкой кожей, на шве — тук, тук, тук. Быстро, торопливо, как будто куда-то спешит.

Тёма, — подумала я.

Это не точно. Это может быть не он. В городе каждый день умирают люди. Это может быть кто угодно. Шор сказал — не ищи. Шор сказал — ты этим только навредишь.

Тёма, — подумала я ещё раз.

И сердце — через пять минут, когда я уже сидела, уткнувшись лицом в колени, — застучало так, будто узнало своё имя.

* * *

Я не спала всю ночь.

Я пролистала страницу Даниила Яворского до самого начала. До первой записи, сделанной шесть лет назад. Почти всё — мотоциклы. Фотографии мотоциклов из мастерской: разо-

бранные, собранные, блестящие, ржавые. Подписи короткие, сухие: «Ducati, перебрали двигатель». «Урал, 1978, восстановили». «Хонда для Тёмы. Полгода».

Последнюю я рассматривала долго. Красно-чёрный мотоцикл во дворе мастерской, на фоне облупленной кирпичной стены. Белая молния через весь бак. Рядом — тот же светловолосый парень. Он стоял, положив ладонь на бак, и смотрел не в камеру, а куда-то вбок, на того, кто снимал. С таким лицом, что у меня сжалось горло.

Дата под фотографией — двадцать первое ноября.

Самого Даниила на фотографиях почти не было. Он снимал, его не снимали. Только на одной, старой, случайной — кто-то сфотографировал его в мастерской, со спины, склонившимся над двигателем. Тёмные волосы, широкие плечи, рука в масле до локтя. И Тёма рядом, лет пятнадцати, тощий, лохматый, обнимает его сзади за шею и корчит рожу в камеру.

Мастерская называлась «Гараж на Обводном». У неё была своя страница. Я зашла туда.

Последняя запись была три дня назад. Сделанная не Даниилом — кем-то другим, судя по стилю: длинно, с восклицательными знаками, со смайликами.

«Друзья! Мы снова работаем в обычном режиме. Спасибо всем, кто был с нами эти недели.

И ещё. Нам очень нужен человек. Раньше всё это делал Тёма: телефон, запись клиентов, страничка, фотографии. Мы с Даном в этом ничего не понимаем, у нас руки только под гаечный ключ. Ищем администратора. Можно без опыта. Главное — не бояться масла, мотоциклов и бородатого меня.

Обводный канал, вход со двора, красная дверь.

Гоша».

Я перечитала это три раза.

Раньше всё это делал Тёма.

Я подумала о Шоре. О его усталом лице. «Не ищи. Ему этим не поможешь. А себе — навредишь».

Я подумала о пятнадцати ступенях до площадки. О руке, которая держала меня за руку.

Я подумала о Сашке. О том, как она сказала: «Нормальное — это когда хочется. А ты говоришь то, что можно».

Я не знала, что я хочу. Я только знала, что не могу не посмотреть. Хотя бы один раз. Издалека. Просто увидеть его брата. Просто увидеть место, где он жил. Просто убедиться — что это он. Или что не он.

Один раз. Посмотреть — и уйти.

За окном светало. Тополь во дворе стоял серый, в лёгкой зелёной дымке. На ветке сидела ворона.

Я открыла сообщения. Нашла «Гараж на Обводном».

Долго смотрела на пустое поле. Курсор мигал.

Потом написала:

«Здравствуйте. Я по поводу вакансии».

И нажала «отправить», пока не передумала.

Часть вторая. Встретить рассвет на крыше

Голосовое сообщение

Тёма — Дану. 11 декабря, 19:52

Дань, ты где? Я в мастерской, Гоша ушёл, я один, Поршень залез в коробку из-под твоих новых свечей и не вылезает. Я его оттуда достаю — он шипит. Сажаю обратно — мурчит. По-моему, он решил, что он свеча зажигания. Очень серьёзно к этому относится.

Слушай, я чего звоню. Я тут подумал. Ты когда последний раз смеялся? Нормально, не «хм», а вот прям чтоб в голос? Я не помню. Честно. Я напрягся и не вспомнил. Последний раз, по-моему, когда Гоша в прошлом году сел в ведро с отработкой. А это было в апреле. Дань, это ненормально. Люди должны смеяться хотя бы раз в месяц, я где-то читал. А то лицо застывает. У тебя уже застывает, я тебе как брат говорю.

Я внёс это в список. Девятым пунктом. «Научить Дана смеяться». Так что ты теперь мой проект. Готовься.

И ещё. Клиент с «Ямахой» звонил, спрашивал, когда будет готово. Я сказал — в пятницу. Ты не ругайся. Ты успеешь. Ты всегда успеваешь.

Всё. Поршень опять в коробке. Иду доставать. Купи по дороге молока. Ему, не мне. Ну и мне.

Глава 7

Мира

Пульс: 99

Гоша ответил через час после моего сообщения. Длинно, с восклицательными знаками и тремя смайликами. Написал, что очень рад, что вакансия ещё открыта, что сейчас майские и они работают через день, а нормально поговорить лучше после праздников, и не могла бы я подъехать двенадцатого, к одиннадцати, вход со двора, красная дверь, звонить два раза, потому что звонок плохо слышно из-за компрессора.

Я ответила: «Да. Спасибо. Приеду».

А потом две недели думала, что не поеду.

Каждый вечер я говорила себе: это безумие. Шор бы меня убил. Мама бы умерла на месте. Я на иммуносупрессии, мне нельзя пыль, нельзя масло, нельзя котов, нельзя тяжёлое. Я не умею работать администратором. Я вообще не умею работать — я восемь лет никуда не ходила, кроме больниц. И главное — зачем? Что я там буду делать? Смотреть на его брата? Сидеть за его столом? Отвечать на звонки, на которые раньше отвечал он?

Каждое утро я просыпалась, смотрела на браслет, слушала, как стучит сердце, — и думала: я просто посмотрю. Один раз. Поговорю с ними пять минут, увижу мастерскую, увижу Даниила, пойму, что это не он, что всё совпадение, — и уйду. Скажу, что мне не подходит. И всё.

Одиннадцатого вечером я сказала маме, что завтра поеду к Кире. Мама обрадовалась так, что у меня сжалось сердце — не новое, а то, что внутри, под ним, где живёт совесть.

— Конечно, Мирочка! Только в маске. И на такси, не на метро. И позвони, когда доедешь. И когда поедешь обратно. И…

— Мам. Я знаю.

— Знаю, что знаешь. — Она поцеловала меня в лоб. — Просто я так рада, что ты куда-то идёшь.

Я лежала потом полночи и смотрела в потолок. Первая ложь. Маленькая. Ради хорошего.

Я ещё не умела врать. Мне было очень стыдно.

* * *

Обводный канал был широким и некрасивым. Серая вода, серый гранит, серые дома с мутными окнами. Старые фабричные корпуса из красного кирпича, некоторые — с выбитыми стёклами, некоторые — перестроенные в лофты, с модными вывесками и велосипедами у входа. По набережной в обе стороны неслись машины, грохотали грузовики, и воздух пах бензином, мокрым камнем и чем-то сладким — с той стороны канала, кажется, была кондитерская фабрика.

Такси высадило меня у высокой подворотни. Я надела маску, проверила, что таблетки на месте, во внутреннем кармане сумки, в маленькой коробочке с отделениями, — хотя до вечернего приёма было ещё десять часов, — и вошла во двор.

Двор был длинный, узкий, вымощенный старым булыжником, между которым пробивалась трава. Слева — глухая кирпичная стена, вся в граффити. Справа — одноэтажные гаражные боксы с железными воротами. Почти все ворота были закрыты, на некоторых висели замки. В самом конце двора, у стены, стоял шестиэтажный кирпичный дом с пожарной лестницей, которая поднималась по торцу до самой крыши.

А в первом этаже этого дома — красная дверь.

Над дверью висела вывеска. Самодельная, из жести, с выпиленными буквами: «ГАРАЖ НА ОБВОДНОМ». Буквы были кривые, «Ж» почти отвалилась и держалась на одном шурупе.

Рядом с дверью — широкие гаражные ворота, приоткрытые на полметра. Из-за них доносился звук мотора — низкий, рокочущий, — и какой-то металлический стук, и негромкая музыка.

Я остановилась посреди двора. Сердце стучало — девяносто девять, сто, — от дороги, от волнения. Нет, не от волнения. Волнение оно узнает позже.

Я смотрела на пожарную лестницу. Ржавая, узкая, с перекладинами через каждые полметра. Она шла вверх по стене, мимо окон, до самого края крыши. Шесть этажей.

Почему-то мне стало холодно.

Я подошла к красной двери и позвонила. Два раза.

* * *

Открыл Гоша.

Я поняла, что это Гоша, ещё до того, как он заговорил. Он был ровно таким, каким я представляла его по сообщениям. Огромный — под два метра, широкий, как платяной шкаф. Рыжеватая борода лопатой. Клетчатая рубашка с закатанными рукавами, на предплечьях — веснушки и масло. Добрые, немного сонные голубые глаза.

— Мира? — сказал он и расплылся в улыбке. — Здрасьте! Заходите! Ой. А вы в маске. Вы болеете?

— Нет. Аллергия, — сказала я. Вторая ложь. Она вышла легче первой. — На пыль. Немного.

— Ой. — Гоша обернулся и с сомнением посмотрел вглубь мастерской. — У нас тут пыль. Ну, есть пыль. Много пыли. Мы её не то чтобы специально… она сама.

— Ничего. Я справлюсь.

— Ну, заходите тогда. Только осторожно, тут порог.

Я переступила порог.

Мастерская была большой — больше, чем казалась снаружи. Высокий потолок с железными балками, под которыми висели лампы в решётчатых плафонах. Бетонный пол в масляных пятнах. Вдоль стен — стеллажи до потолка, заставленные коробками, ящиками, банками, запчастями. Покрышки стопками. Цепи на крюках. Два мотоцикла на подъёмниках, разобранные наполовину, с вынутыми потрохами. Третий — в углу, под брезентом.

Пахло маслом, бензином, железом, старой резиной и почему-то кофе.

У ворот, на маленьком деревянном столе, стоял старый магнитофон, из которого тихо играла музыка. Что-то старое, гитарное.

А справа от входа, у окна, — ещё один стол. Обычный, письменный, офисный, совсем не подходящий к этой мастерской. На нём — старый ноутбук с наклейками, телефон, толстая тетрадь в клеточку, стаканчик с ручками. Белая кружка с надписью маркером. Над столом — полка. На полке — мотоциклетный шлем.

Чёрный. С глубокой белой царапиной сбоку.

— Вот, — сказал Гоша, проследив мой взгляд. Голос у него вдруг стал тише. — Это… рабочее место. Ваше будет. Если договоримся.

Я подошла к столу. Медленно. Сердце стучало ровно. Девяносто девять.

Кружка. «ТЁМА. НЕ ТРОГАТЬ. ТЕБЯ ЭТО КАСАЕТСЯ, ГОША». Буквы чуть смазаны, будто её много раз мыли. Пустая.

Тетрадь. Раскрытая на середине. Таблица, расчерченная от руки: дата, имя клиента, телефон, марка мотоцикла, что сделать, сумма. Почерк — размашистый, крупный, с завитушками на «д» и «у», с рисунками на полях: где-то нарисован кот, где-то — смайлик, где-то — маленький мотоцикл. Последняя запись — «14.03. Петров, Yamaha, сцепление, до пт.». После неё — пустые строчки.

Я подняла глаза на шлем.

С моего места было видно его сбоку и сзади. Царапину. И маленькую красную наклейку на затылке.

«II+».

Вторая положительная.

Я смотрела на неё и не могла отвести глаз. Рука сама поднялась — я не знаю зачем. Потрогать. Убедиться, что настоящая.

— Не трогай.

Голос раздался сзади. Негромкий, хриплый, спокойный. Я вздрогнула и обернулась.

* * *

Он стоял в проходе между стеллажами, вытирая руки тряпкой.

Высокий. Не такой огромный, как Гоша, но высокий, худой, жилистый. Тёмные волосы, давно не стриженные, падали на лоб. Щетина — не модная, а такая, какая бывает у людей, которым всё равно. Серая футболка с пятнами масла. Рабочие штаны. На шее — чёрный шнурок, на котором висело что-то маленькое, серебряное. Кольцо, кажется.

Лицо — резкое, худое, с тенями под скулами. Глаза — тёмные, очень усталые. Он смотрел на меня. Не враждебно. Просто внимательно. Так смотрят на незнакомую деталь, прикидывая, куда её приладить.

Я узнала его сразу. Не по фотографии — на фотографии была только спина. По Тёме. По тому, как Тёма смотрел на него с фотографии у мотоцикла, вбок, на того, кто снимал.

— Простите, — сказала я. — Я не хотела.

Он посмотрел на мою поднятую руку. Я опустила её.

— Это Дан, — сказал Гоша поспешно. — Даниил. Мы вместе… ну, мастерская наша. Дан, это Мира. Я тебе говорил. По вакансии.

— Говорил, — сказал Дан.

Он подошёл к столу. Мимо меня — близко, я почувствовала запах масла, железа и чего-то горького, как полынь. Снял шлем с полки. Повертел в руках. Поставил обратно — чуть дальше, к стене, чтобы с моего места не было видно наклейки.

— Почему маска? — спросил он, не оборачиваясь.

— Аллергия. На пыль.

— Здесь пыль.

— Я знаю. Гоша сказал.

Он обернулся. Посмотрел на меня поверх маски — в глаза.

— Почему сюда? — спросил он. — С аллергией на пыль. В мастерскую.

Я ждала этого вопроса. Я репетировала ответ две недели. Перед зеркалом, в душе, ночью в кровати. Я хотела сказать что-то умное, правдоподобное. Что мне нравятся мотоциклы. Что мне нужен опыт работы. Что мастерская близко к дому — не близко, от Васильевского сюда ехать было почти час.

— Мне нужна работа, — сказала я. — Я долго болела. Не могла учиться. Сейчас поправилась. Мне нужно что-то делать. Где-то быть. — Я помолчала. — А у вас написано: «можно без опыта». У меня нет опыта. Совсем. Ни в чём.

Это была правда. Почти вся. Он, кажется, это почувствовал — потому что чуть прищурился, как будто что-то взвешивал.

— Чем болела? — спросил он.

— Дан, — сказал Гоша укоризненно. — Так нельзя спрашивать.

— Можно, — сказала я. — Сердцем.

Третья ложь. Нет. Не ложь. Правда. Самая правдивая правда из всех, что я сказала за день.

Дан смотрел на меня ещё секунду. Потом отвёл глаза.

— Тяжести не поднимаешь? — спросил он.

— Пока нет.

— Ладно.

Он отвернулся и пошёл обратно к стеллажам. Гоша растерянно посмотрел ему вслед, потом на меня.

— Он… он такой, — сказал Гоша тихо. — Вы не обижайтесь. Ему сейчас… у него брат…

— Я знаю, — сказала я. — Я читала.

Гоша посмотрел на меня с благодарностью. Будто я избавила его от необходимости рассказывать.

* * *

Гоша показал мне всё. Где лежат квитанции. Как записывать клиентов — в тетрадь и в таблицу на ноутбуке, «Тёма завёл, мы её не трогали, там всё по цветам, я не понимаю, но работает». Как отвечать на звонки: «Гараж на Обводном, здравствуйте», и не обещать сроки, пока не спросишь у Дана или у него. Как фотографировать мотоциклы для странички — Гоша достал телефон и показал мне Тёмины снимки, красивые, живые, с бликами на хроме, с дымкой от выхлопа.

— Он это любил, — сказал Гоша. — Фоткать. Говорил, что мотоцикл — как человек, у него есть лицо, надо только найти ракурс.

— Можно я покажу свои? — спросила я.

Я открыла «Вид из окна». Гоша взял мой телефон своими огромными пальцами и начал листать. Парковка у больницы. Снег на шлагбауме. Рыжая кошка на капоте джипа. Охранник, танцующий под дождём. Двор-колодец с тополем.

Гоша листал молча. Долго. Потом поднял на меня глаза.

— Это всё одно окно? — спросил он.

— Два. Сначала одно. Потом — второе.

— Вы сколько лет в это окно смотрели?

— Восемь, — сказала я. — В разные. Но восемь.

Гоша помолчал. Потом вернул мне телефон.

— Красиво, — сказал он. — Грустно, но красиво. Как будто кто-то очень хочет выйти, а не может.

Я ничего не ответила.

Гоша почесал бороду.

— Дан! — крикнул он через всю мастерскую. — Иди глянь.

Дан не пошёл. Из-за стеллажей донеслось: «Занят».

— Ну и ладно, — сказал Гоша. И подмигнул мне. — Он потом сам глянет. Он всегда так. Сначала «занят», потом смотрит, когда никто не видит.

* * *

Кот появился, когда Гоша объяснял мне, как работает касса.

Рыжий, огромный, с порванным ухом и толстым хвостом. Он вылез откуда-то из-под стеллажа, потянулся, зевнул, показав розовую пасть, и медленно пошёл через мастерскую. Прямо ко мне.

Я замерла.

Мне нельзя было котов. Шор говорил это несколько раз, очень строго. Токсоплазмоз, бактерии, царапины, которые на иммуносупрессии могут загноиться. «Никаких кошек, Лаврова. Никаких. Даже погладить. Даже если очень хочется».

Кот подошёл и сел у моих ног. Посмотрел на меня снизу вверх. Глаза у него были жёлтые, круглые, очень серьёзные.

— Это Поршень, — сказал Гоша. — Он… ой. Он обычно не подходит к чужим. Вообще ни к кому, кроме…

Он замолчал.

Поршень встал, потянулся и потёрся о мою ногу. Сначала одним боком, потом другим. Потом ещё раз. И заурчал — громко, рокочуще, неровно, как мотор, который никак не может решить, заводиться ему или нет.

Я стояла, не двигаясь. Руки прижала к груди, чтобы случайно не погладить.

— Смотри-ка, — сказал Гоша тихо. — Признал.

Я подняла глаза.

Дан стоял у стеллажа, в десяти шагах, с гаечным ключом в руке. Он смотрел на кота. Потом на меня. Лицо у него было неподвижное, совсем неподвижное. Только костяшки пальцев на ключе побелели.

Он ничего не сказал. Отвернулся и ушёл к мотоциклу на подъёмнике.

Поршень урчал у моих ног.

* * *

Минут через пять, когда Гоша уже показывал мне, где чайник и где кофе, — «кофе Дан пьёт только чёрный, без сахара, и только из этой чашки, а из этой — я, а это… это Тёмина, её не трогай», — сердце вдруг застучало.

Сильно. Часто. Так, что потемнело в глазах.

Я схватилась за край стола. Гоша испугался.

— Вам плохо? Сесть? Воды?

— Нет. Всё нормально. — Я села на стул у стола. Тёмин стул. Офисный, на колёсиках, с продавленным сиденьем. — Просто… душно.

— Душно, да. — Гоша закивал. — Тут всегда душно. Я сейчас ворота открою пошире.

Он ушёл открывать ворота. Я сидела и дышала. Глубоко, медленно, как учила Римма.

Сердце колотилось. Сто двадцать. Сто двадцать шесть. Сто тридцать.

Оно узнало. Через пять минут после меня. Оно увидело — то есть это я увидела, а оно узнало от меня, по крови, через адреналин, — и шлем, и наклейку, и кружку, и кота, и Дана с гаечным ключом.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.